Когда за окном свирепствует пурга, или, наоборот, тихо парят в бесконечном пространстве изящные снежинки, мне, в первую очередь, приходит на ум как-то связанная с этими явлениями необыкновенная история любви моего друга юности Варфоломея. Кстати, Варфоломеем его никто никогда не называл: для всех он был просто Мейкой.

Необщительный и невзрачный на вид, Мейка тем не менее буквально купался в славе за свой тонкий музыкальный слух и красивый сильный голос, схожий, по мнению сельчан, с голосом знаменитого тогда Сергея Лемешева.

В то военное голодное и холодное время, когда, казалось, было не до песен, мы, пацаны, группировались вокруг Мейки и по всему поселку Ключи распевали любимые песни Руслановой и Лемешева, ощущая себя причастными к чему-то возвышенному, светлому. Нынешнему поколению, наверное, не понять, о чём я пишу. Да, другое было время. Верили в Партию, Победу и, несмотря на все лишения, старались жить полнокровной жизнью: влюблялись, танцевали в промозглом сельском клубе… бальные танцы. Именно на танцах и увидел Мейка десятиклассницу Зину. Шло время, и понимал Мейка, что, чем дальше, тем больше какое-то новое необъяснимое чувство завладевает всем его существом, не даёт покоя. Он хотел видеть только её, грезить только ею… Да, влюбился он действительно страстно, бешено, но… размышлял я, слишком отчаянно и… похоже, безнадёжно. И то сказать, куда ему до Зиночки, яркой, бойкой, у которой и фигурка точёная, и личико миловидное…

Неизвестно ещё, ответит ли Зина взаимностью, но, слава Богу, знал я, что она благоволила Мейке, была поклонницей его таланта.

И вот в новогоднюю ночь 1947 года настал-таки для Мейки звёздный час! Идеальную картину первого свидания трудно себе вообразить.

На живописном берегу замерзшей реки Камчатки, у его высокого камня, стояли лицом к лицу, взявшись за руки — он и она. Тихо сыпал снег, а счастливейший Мейка заливался на всю вселенную, самозабвенно пел для неё неаполитанскую песню: … «Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтая…» После такого происшествия узнать друга было сложно. Обычно неразговорчивый, являл он теперь полную противоположность: мог часами живописать о том, как падали снежинки на волнистые Зинины кудряшки, как прикасались они к длинным ресничкам, придавая и без того милым глазам изумительную выразительность, как таяли они на горячих щеках превращаясь в сверкающие жемчужинки! «Какие жемчужинки?!! — восклицал я. — Мейка! Дорогой мой, здоров ли ты?»

А после его рассказа о том, когда однажды прокравшись к окну её дома, он наслаждался её роскошным сном, и вовсе подумал: «Хороше-

го не жди»… И как в воду глядел! Исчезла Зиночка из Мейкиной любви: какой-то офицер соблазнил её, и уехала она с ним далеко-далеко, навсегда…

События эти не имели бы определяющего значения, чтобы повествовать о них, если бы через много-много лет не случилось их удивительное продолжение.

А пока один за другим шли годы. Варфоломей Иннокентьевич срубил большой дом, завел хозяйство и вместе со своей хорошенькой супругой в мире и согласии вырастили двух сыновей и красавицу дочь. Достаток, престижная работа, желанные творческие поездки, а также охота, рыбалка — всё это было! Всё это было для счастливой жизни. Почивать бы теперь на лаврах, да не тут то было: саднит временами что-то непонятное в груди, не даёт покоя. Нет-нет, да и бередят душу нахлынувшие воспоминания… И вот для разрядки ли, или просто для хмельного удовольствия, пристрастился старик к спиртному. Дальше — больше. Теперь не ноет в груди, размылись чувства в разведенном спирте, а дальше деградация, тупое безразличие и заброшенная колхозная кузница стала его последним пристанищем.

Однажды после очередного запоя какая-то неведомая сила вытолкнула его из мрака и копоти, выставила его на свежий воздух новогодней ночи да обсыпала густо холодными снежинками… Нет, не почуял он перемен и потащился молча по главной улице с надеждой где-либо опохмелиться.

Но судьба снова настигла его: из ресторана, мимо которого он проходил, вдруг донеслись до него те самые, родные для него звуки неаполитанской мелодии… Возможно ли простыми словами описать всё то, что произошло с человеком в этот момент?

Какая картина вдруг всем накопившимся грузом взорвалась разом, обрушилась на его голову? В каком-то безумии вбежал Мейка в банкетный, заполненный офицерами зал, вскарабкался на сцену и упал перед руководителем оркестра с просьбой повторить мелодию… В зале возмущенно зашумели, требуя убрать бича вон! Но случилось невероятное: пожилой маэстро, зная понаслышке о голосе Мейки и его самого, обратился к присутствующим, попросив послушать-таки бывшую когда-то знаменитость.

Снова грянул оркестр, и Мейка, не певший уже лет 20, каким-то чудом, какой-то внутренней перестройкой, прорвавшейся в пропитом организме, вдруг чистейшим мелодичным тенором подхватил заветные слова «…Очей прекрасных огонь я обожаю, скажите, что иного счастья не желаю…» Взволнованный, с немыслимой отчаянной надеждой стоял он рядышком со скрипачами в белоснежных одеяниях, и слёзы катились по грязному лицу. Пусть! Он пел для неё!!!

Притих, оцепенел зал: возможно ли так искренне, проникновенно донести смысл, глубину, казалось бы, обыкновенных слов? «…Что неж-

ной страстью я цепью к ней прикован…», — лились звонким родником священные слова страсти гимна и любви…

Но почему он здесь? Опомнившись, выскочил Мейка из ресторана и по сугробам побрёл туда, к тому заветному камню. Рвалось сердце — надо успеть. Вот оно! Это место и больше ему никуда не надо…

«Очей прекрасных…», — шепчут в холодный камень обветренные губы… А густой хлопьями снег валил, валил и валил, стараясь поскорее всё кругом покрыть девственной пеленой, поскорее засыпать, схоронить навечно великую тайну любви человеческой.

ДЯДЯ ПЕТЯ

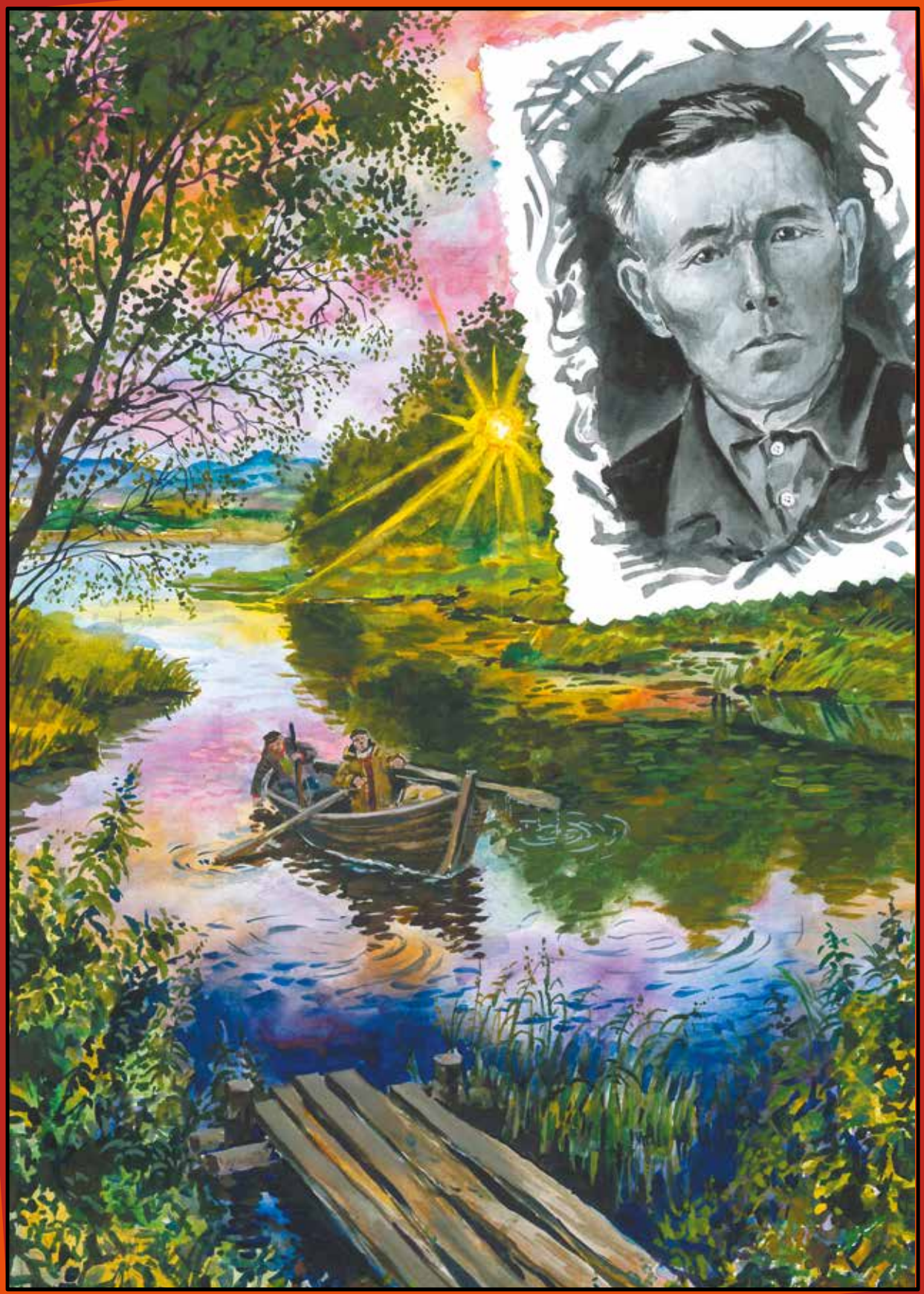
Давным-давно нет в живых дяди Пети. От времени должна бы и память стереться, но не стирается, живёт до сих пор. Старая рубленая изба, ставни на маленьких окнах, амбар в старинном стиле камчатских острогов, охотничья двухносовая лодчонка, ласково называемая «веточкой», притулившаяся во дворе на ромашковой полянке — притягивали меня, малолетнего пацана, как магнитом. Вместо того, чтобы лишний раз поиграть со сверстниками в «лапту» или порезаться «в чику», норовил я всякий раз забраться в амбар, чтобы потрогать своими руками удивительные и загадочные для меня вещи: закопчёные до черноты котелки и чайники, латанную брезентовую палаточку с окошечком для каминной трубы, чиручи для ловли гольцов, широкие охотничьи лыжи, подбитые камусом ламутских оленей, разноцветные деревянные чучела на диких уток, гоголей и чернедей, связку выделанных заячьих шкурок, старенький, давно не востребованный, винчестер и дробовое тульское ружье 20-го калибра… И… насладиться запахом! Завораживающим запахом стреляного ли пороха в старых гильзах, оленьей ли слежавшейся шерсти в кукуле или просто векового амбарного тления…

Представить дядину жизнь без охоты было невозможно, и я во всю старался хоть в какой-то мере считать себя причастным к этому делу: помогал «катать» на сковородах самодельную дробь, шустовал ружье, умел безошибочно различать убитых уток по породам.

Дядя Петя, наблюдая за моим усердием, ласково повторял: «Как-нибудь возьму тебя на охоту, непременно возьму». А я расплывался в мечтательной улыбке: «Конечно же, возьмёт меня дядя Петя на охоту, непременно возьмет, и близко уток увижу — живых!»

Так оно однажды и случилось.

На легкой «веточке», одному только дяде известными протоками и озерцами неторопно добрались мы, наконец, до места. Пока поставили палатку, расстелили кукули и навесили на таганок чайник, начался вечерний перелет. Первыми, как водится, едва не задевая тальников, вихрем проносятся чирки.



(В этом месте процитировать хочется стих моего брата Леонарда: «Чирок»: Он первым прилетит на озерко, Такой доверчивый, как без ума похоже, Ему поэтому и выжить нелегко, Но без него охоты быть не может!)

Пошла утка. Чем скорее темнелось вокруг, тем шумливей становилось небо.

Прислушиваясь, я не успевал вертеть головой, чтобы хоть как-то определить уток по породам, кучно летящих и слева и справа, и низко и высоко. Вот где-то, вибрируя крыльями, «зазвенели» колокольчиками гоголи, «засвистели» рядом свиязи… А дальше уже и не понять, не разобрать стремительного полёта — все звуки смешались в один общий поток и гам. Идет великий вечерний перелёт, летят утки на кормовые озера.

А в это время, к моему удивлению, дядя Петя спокойно тянул из железной кружки густой, обжигающий чай, и охота, казалось, никак не интересовала его. «Велика ли честь лупить в темноте по стаям, — наконец выговорил он, — плодить подранков — не наше дело, спи, завтра рано подыму, вот тогда и стрелим на сеношке». На самом же деле экономил он. Видел я редко торчащие патроны в патронташе, знал, как берёг он каждый заряд. Достать в те времена порох ли, капсуля или свинец для дроби — было целой проблемой. (В связи с этим вспоминаю начало 60-х годов, когда я привез ему из Петропавловска в подарок новенькое ружье и припасы. Сверкающие новизной драгоценности явно ошеломили его, а мне было приятней вдвойне).

В 5 часов утра мы были уже на месте и разместились в просторном, сделанном из кустов, скрадке. «Сеношками» назывались озера, куда утки прилетали отдыхать после ночной кормёжки. Предстоящая охота в столь ранний час интриговала меня, будила воображение — и я старался запомнить всё: и темно-серое с угасающими звёздочками осеннее небо, и усеянные обильной росой озерные хвощи, и само, ещё сонное, с образовавшимся пушистым туманчиком, озеро, и… колдовскую тишину… Такую тишину, что казалось, никакие утки не могли сюда прилететь, чтобы нарушить устоявшийся покой. Но прилетели. Метрах в десяти от нас бесшумно приводнились два чирка. Они повертелись юлой туда-сюда и также бесшумно снялись и унеслись за тальники — не их это озеро.

И вдруг насторожился дядя Петя: «Наши идут», — прошептал он. И действительно: через какое-то мгновение я увидел двух зависших над озером «крякшей». Они покрутили головами и, не почуя опасности, опустились на воду. Самочка засунула головку под крыло и, похоже, тут же заснула. Селезень же еще долго обследовал прибрежные хвощи, охраняя таким образом покой подружки. Я вопросительно глянул на дядю, мол, сели утки, пора стрелять. «Маленько подождём, — шептал он, — прилетят другие, тогда и «спарим». Следующая пара, увидев на озере своих собратьев, села без промедления. Наконец-то дядя выста-

вил ствол из амбразуры, взвел курок и стал выжидать, когда селезни сойдутся на одной линии. Вот они изящные красавцы совсем рядом — рукой подать. Величаво плывут навстречу друг к другу. Глядя на них замирает в груди от удивительной картины совершенства форм грудки, длинной гибкой шеи с полоской беленького воротничка и переливающегося цветного оперения.

Но гремит оглушительным раскатом выстрел, заслонилось пороховым дымом больно охнувшее эхом озеро, и разом уронили головы в воду, сраженные свинцом, благородные особи… И так повторилось дважды. Едва начавшись, закончилась охота, впереди день-деньской, пусть теперь прилетают утки безбоязно, пусть отдыхают на родной «сеношке» до самого вечера.

Я же пока не мог разобраться в навалившихся на меня смешанных чувствах. Но ясно было одно: неистребимость охотничьей страсти явно превалирует над жалостью к братьям нашим меньшим, и такая закономерность в природе неотвратима. Но кроме милой сердцу охоты, этого мимолетного для души праздника, была у дяди Пети и другая жизнь.

Не раз я видел, как возводил он руки к небу и беззвучно шевеля губами, призывал всех святых усмирить свою разбушевавшуюся старуху Павлину Петровну, громогласно костерившую распроклятущий колхоз «Назад» и его каторжанина дядю Петю, всю жизнь с раннего утра до позднего вечера «загинавшегося» за палочки-трудодни.

Конечно же, на самом деле вовсе не «Назад» было название этого ключевского колхоза. Никак не могли вспомнить, кем, за что и когда был вынесен вердикт назвать вечно нерентабельный колхоз оптимистическим зовущим словом «Вперёд». Но нет худа без добра: название это как будто веселило «каторжников», и они, куда уж деться, дорожили им и, как мне кажется, даже любили его по-своему. Хворая же Павлина Петровна, измученная к тому же похоронкой сына, хоть по-прежнему и громила колхозную систему, мало-помалу сдавалась, слабела, и когда колхозу становилось трудней всего, бежала-таки на стан, рвалась накормить досыта голодных сенокосчиков. А уроженец старинного села Ниже-Камчатск, потомок, наверное, еще ленских переселенцев-крестьян 18 века, добрый непритязательный дядя Петя, похоже, генетически унаследовал дух крестьянской терпимости к труду, поэтому изменять родному колхозу не помышлял, от житейских невзгод понапрасну не расстраивался. Напротив, умел по-настоящему находить радостное удовлетворение не только в охоте, но и в редких тогда праздниках, к которым готовились загодя: в каждой семье варилась крепкая брага, пеклись рыбные пироги, жарились в противнях дикие утки.

И ни один из этих праздников никак не мог обойтись без самого главного, самого проникновенного момента, когда чуть захмелевший дядя Петя начинал баритоном выводить старинный, о великой любви

сибирский романс, который через многие поколения каким-то непостижимым образом, но дошел до камчатских окраин.

Вот и теперь ждут гости, нутром чувствуют они назревающий миг романтического благоденствия, когда возликует душа и сердце, когда напрочь вдруг исчезнут все беды, горести и заботы. А весь подобравший себя взволнованный дядя Петя, уловив подходящий момент, начинал…

Накинув плащ с гитарой под полою,
К её окну приник в тиши ночной.
Не разбужу я песней удалою
Роскошный сон красавицы младой.

«Не разбужу я песней удалою, — включался дружный хор подвыпившей компании, — роскошный сон красавицы младой». Крепчал теперь подмогой дядин голос, делался уверенным, раздольным.

Я здесь пою так тихо и смиренно
Не для того, чтоб услыхала ты,
И песнь моя есть фимиам священный,
Пред алтарем Богини Красоты.

Не совсем понятные, но волнующие слова целиком захватывали меня, хотелось почему-то плакать, я как бы воочию видел молоденького, с гитарой под полою расхристанного Петьку, стенающего перед настоящей Богиней Красоты.

Не искушай меня младая Дева,
Не возмещу твоих прекрасных грёз.
На естество разгульного напева
Чиста и песнь, когда чиста любовь.

Надрывом гремелось в избе от прекрасных грёз и чистой любви. Страдалось, накипалось слезами.

А может быть, услышишь серенаду
И из неё хоть что-нибудь поймешь.
А может быть, поющему в награду
«Люблю тебя» сквозь сон произнесёшь.

Наверное и тогда, в ту пуржистую новогоднюю ночь, возвращаясь с гулянки, пел серенаду дядя Петя. Самозабвенно пел, потому и не увидел, не почуял несущийся сзади «студебеккер», управляемый вдребезги пьяным парнем.



И… упал он бездыханный, махиной железной сражённый, зарылся головой в девственный снег…

ОСЕНИ СВЕТЛАЯ ПЕЧАЛЬ

Недаром день пожилого человека приурочен именно к осенней поре, наверное, ещё и потому, что духовная умиротворённость стареющих людей и состояние красоты увядающей осени — это, похоже, и есть два неразрывных между собой понятия, по-своему дополняющие друг друга.

«Осени светлая печаль» — так называется стихотворение, сочиненное братом моим Леонардом, страстным любителем природы, камчатской осени и охоты.

Ах ты, осень! На душу бальзамом
Ты в лукошко льёшь свои дары,
А в озёра с бесконечным гамом
Утки прилетают до поры.
Чтоб потом, почуя снег и стужу,
Скопом всем подняться на крыло
И… на юг! Им проводник не нужен,
Коль движенье смысл приобрело.
Что сулит мне этот день охоты?
Знаю наперёд: блаженство день!
Музыку утиного полёта!
И природы трепетную звень!
Ты послушай… как поёт речушка,
В перекатах камни заласкав.
Добрая и верная подружка
Лишь тому, кто встречи с ней искал.
Покуда с ней не встречусь снова,
Пока ее не обниму
И не замечу в ней обновы, —
Причины грусти не пойму.
Ах ты, осень! Желтым покрывалом
Землю неостывшую покроет,
И потянут гуси караваном,
Оглашая грустью всё земное…

И то сказать: на нашу богатую, нарядную, тёплую долгую елизовскую осень смотреть — не насмотреться! Никуда и ехать-то не надо — всё перед нами, всё рядом: и лес, и горы, и реки и вечные спутники наши вулканы-великаны, без которых немыслим ни один пейзаж. Даже простые полянки в берёзовом лесу, и те преобразились осенью:

сделались просторными и яркими от пламенеющих огнем гроздей рябины. А к позолоченным берёзкам непременно прикоснуться хочется, обнять их, беленьких, излучающих в награду нам тихий и ровный свет. И не дай Бог пропустить, не угадать тот волнующий момент, когда однажды от ветра порывистого вдруг посыплются густо золотые берёзовые листочки. Вот уж действительно «очей очарованье»! Как в сказочной прощальной круговерти закружатся они в небесной синеве… в последний раз, призывая, наверное, и нас, случайных зрителей, проникнуться их светлой печалью, послушать и себя — так ли живём? Сердце своё послушать, душу разбередить сладкими воспоминаниями родных ли мест с ромашковой полянкой у реки, далёкого ли детства, пусть голодного и холодного, но всё же запомнившегося нам как самое счастливое, самое прекрасное время!

Один из ярких эпизодов детства вспоминаю и я, когда малолетним пацаном однажды совершенно случайно очутился в сельском клубе… на танцах, как таращился во все глаза на движущиеся по кругу пары, как по-детски изумлялся единению красивой музыки и красивых движений принаряженных людей, и сердчишко моё захлёстывалось от восторга! Как снег на голову, окунулся я в новый, интересный мир, где, оказывается, может светлеть и удивляться душа, где можно напрочь забыть о том, что где-то далеко-далеко от камчатского села идёт война, гибнут люди, рвутся снаряды под Москвой.

А оркестранты? Вот они рядом, полукругом сидящие, еле одетые, а, может, и голодные: комиссованный с фронта одноногий солдат, старики и совсем молоденькие ребята. Склонились над старенькими инструментами: гитарами, мандолинами, балалайками, гармошкой и, как мне казалось, с яростью извлекали из них изумительную музыку… бальных танцев — танго, вальсов, фокстротов и еще каких-то танцев со странными названиями: «Ту степ», «Па-де-спань», «Краковяк»… Пронеслось время, и только через четыре года, весной 1945-го, настал-таки мой звёздный час! В новых, наутюженных штанах из ленд-лизовского американского демиса, явился я на бал, приуроченный ко дню Победы! Этот был праздник!!! И невозможно, я думаю, простыми словами выразить состояние радости и торжества, когда я сам по-настоящему танцевал свой первый вальс под названием «Неаполитанские ночи», как в эйфории, невольно прижимал к себе пухленькую девчоночку из параллельного 8-го класса… Как сейчас вижу её смущенную, раскрасневшуюся, в ситцевом синеньком платьице с белым бантом на груди…

Интересный факт: со временем стираются из памяти даже самые значимые события, а вот поди ж ты! Тот пятиминутный старинный вальс со всеми подробностями врезался в память навсегда, навечно! И ещё: заметил я, что подобные яркие моменты вспоминаются не весной, не летом, а чаще всего именно в пору осеннюю… Ах ты, осень.

Как только на Аваче начинается путина, мне непременно вспоминается случай из моей практики лицензионной рыбалки. Опыта никакого и пришлось мне, прихватив бутылку, отправиться к своему соседу, который в таких делах «собаку съел», знал доподлинно, когда, где, как и чем «затариться хвостами». Вдоволь насмеявшись над моим спиннингом и лицензией, он отыскал среди сетей и бочек с рыбой увесистый агрегат под названием «донка», и стал просвещать: «Закидывай донку как можно дальше, потому как кижуч днём посередине идёт, береговой конец привяжи за камень или за подводную корягу, чтобы ни один мент или рыбинспектор её не обнаружил. Как забросишь — всё! Теперь ты вроде бы только прохожий и «донка», конечно, не твоя. Ходи по бережку, гуляй, вроде бы ты природу сильно любишь, а как забурлит вода — тащи. Понял?»

Берег на «Серебряном» был уже занят, но движимый страстным нетерпением втиснулся-таки я между зазевавшимися лицензионщиками и стал разматывать снасть. Килограммовый вес «донки» с пятью блёснами и острыми ядрёными якорями внушал уважение и какое-то не знакомое, мне ранее, чувство свирепости. Но как закинуть этакую «дуру» на середину реки? — об этом я заранее не подумал, не потренировался, но отступать было некуда, и я стал изо всех сил раскручивать над головой своё орудие. «Донка», сверкая свинцом, блёснами и якорями, угрожающе засвистела, завыла и начала стремительно, подобно винтам вертолёта, набирать обороты…

Пора бы уже и забросить её, но… когда и куда? Бросились врассыпную соседи-рыбаки, залегли за бугром…, а я, о ужас!, закружился сам и не знаю теперь в какой момент надо отпускать леску. Финал можно было предугадать: «донка» улетела в близлежащий лес, а я оказался в противоположной стороне — свалился в воду. На этом можно было и поставить точку, но самое-то интересное оказалось впереди: подгребая к берегу и, подспудно готовя себя ко всеобщему осмеянию, я вдруг с удивлением обнаружил, что рыбаки хохочут вовсе не надо мной. Уму не постижимо! Но оказалось, что в том лесочке, куда улетел мой снаряд, мирно спали ночные браконьеры-тральщики. И надо же такому случиться, что моя увесистая снасть с грохотом обрушилась буквально около их носа, прямо в догорающий костёр, подняв при этом тучу искр и пепла, зацепив крючками ниже пояса одного из браконьеров…

Облава?!! Берег стонал. Честное слово, я никогда не видел таких весёлых лицензионщиков: побросав спиннинги, корчась в конвульсиях, они явно наслаждались бесплатным зрелищем, жадно упивались той необыкновенной скоростью, с которой бедолаги неслись в сторону трассы Елизово – Паратунка. И это ещё не всё! Бог ты мой! В том мужике (который с крючками в заднице) я сразу узнал (по загривку и косолапости) своего… «благодетеля-соседа». Он хоть и зигзагами,

но мчался, пожалуй, проворнее всех. А что же я? Скажу прямо: интерес к лицензионному лову пропал у меня начисто, но на речку я хожу по-прежнему, на гольчиков, с удочкой, на поплавок.

ХУДОЕ МЕСТО

Озеро «Куражье», ограниченное с одной стороны восточным отрогом Ключевского хребта, с другой — рекой Камчаткой, с третьей — вулканической панорамой Шивелуча, представляет собой, особенно в разноцветный осенний период, действительно завораживающее зрелище, но пробраться к нему можно только по единственной протоке с интригующим и, прямо скажем, пугающим названием «Проклятая». Название же самого озера произошло вероятно от тех явлений, когда даже при не очень сильном ветре, оно, озеро, как бы начинает куражиться, беситься огромными волками, оглашаясь при этом пронзительными воплями многочисленных гагар…

Говорили старики, что в такие моменты лучше вовсе не показываться там, дабы не утонуть в его пучинах.

Замечено также, что к этому богатому рыбой и дичью месту люди не особенно стремятся, мимо стараются проскочить, уехать на более спокойные, пусть дальние урочища, но отнюдь не на это ближнее, якобы чем-то аномальное…

Наверное, домыслы все это, однако интереснейший случай произошел здесь зимой с моим младшим братом Валерием и его приятелем-камчадалом Феоктистом Иннокентьевичем.

Вот его рассказ.

…В ту зиму все ивняки и, так называемые, «мелкие прутики» у озера «Куражье» были сплошь испещрены заячьими следами. Такого нашествия зайцев мы не видели никогда! Даже не тропы, а настоящие торные заячьи дороги спускались с хребта, рассыпаясь затем многочисленными ответвлениями и толчеёй на пологом озёрном побережье.

Мой приятель Фионя (так ласково называли Феоктиста) был инвалидом с детства, поэтому, например, зимой передвигался все больше на маленькой нарте, запряженной двумя собачками-дворняжками. На этот раз радости его не было предела: он буквально грезил предстоящей охотой, знал как раз эти места, старую заброшенную землянку, знал, где нам и предстояло переночевать. И вот мы на месте, на замерзшей «Проклятой». Вечерело, надо было торопиться и я, напялив на себя белую камлейку для маскировки, бросился с ружьем на увал, а Фионя остался у землянки, чтобы приготовить ужин и успеть ещё поставить пару петель на замеченной поблизости заячьей тропе.

На первых порах у меня ничего не получалось: заяц-беляк практически не заметен на снегу и как я в спешке не старался учитывать

«двойки», то есть прохождение зайцем одного и того же места в обе стороны и «сметку» — большие прыжки в сторону под куст или валежник — стрелять не успевал.

А между тем стемнело, и решил я поджидать зайца непосредственно у тропы, когда он сам явится, спускаясь на «жировку», то есть когда, как говорится, «на ловца и зверь бежит».

Зайцы не заставили себя ждать: не успел я устроиться в снежном скрадке, как сразу увидел несущихся прямо на меня двух зайцев и сразил их одного за другим. Вот это настоящая охота!

Однако решил больше не стрелять (мне и двух особей довольно), а просто подольше понаблюдать решил за происходящим. Вот, наконец, и полная луна выкатилась из-за туч и сразу изменился весь ночной пейзаж! Красотище необыкновенное! Но главное, зайцы сразу обнаружились. Везде они, и справа, и слева, перекатываются по тропинкам белыми бесшумными комочками и вот уж совсем рядом вырос как из под земли ушастенький, грызёт деловито тальниковую веточку… Это сказка какая-то! Представьте картинку: где-то в поднебесье, с одной стороны, Ключевская сопка огнём полыхает. С другой — яркие звёзды с луной заигрывают, перемигиваются. С третьей — как на лунном ландшафте, зайцы кувыркаются…

Вот это охота! Ничего подобного не видел раньше!

Однако крепчает мороз, до самых костей пронизывает и «постреливать» уже начинают лопающиеся от стужи ольховники… Пора бы в тёплую землянку и… вдруг послышался мне вдали раздирающий вопль.

О Боже! Что это? Не сразу доходит до сознания, что и в Фионину петлю попался заяц…

Наконец пьём с Фионей у раскалённой докрасна печки горячий крепкий чай и начинаем было делиться впечатлениями удачной охоты, как вдруг и услышали шаги…

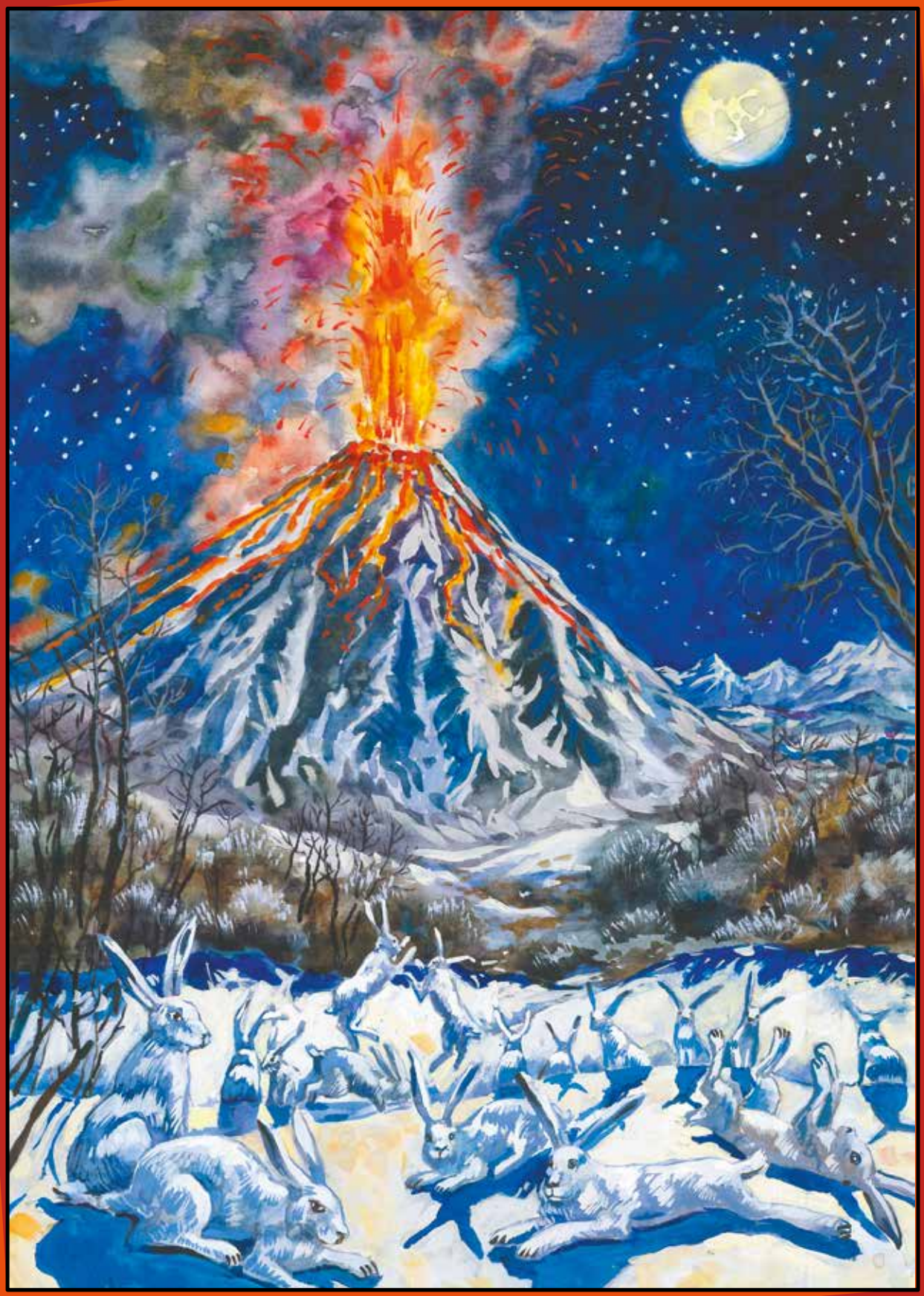
«Еще один охотник объявился, — обрадовались мы — веселей, однако, будет втроём!»

Все явственней скрипят лыжи на морозном снегу. Наконец, остановился кто-то, кряхтя снял лыжи, похлопал от снега и… постучал… мы бросились навстречу, открыли дверь и… не увидели никого… Не было ни человека, ни лыж его.. Что бы это значило? Не спали ведь, все слышали… странно как-то все это и жутко, однако…

«Все сходится, все сходится, — бормотал перепуганный Фионя, — это и есть то самое, худое место. Охотники тут исчезали бесследно… вот и за нами приходили, как за дядей Семёном…»

«За каким Семеёном? Успокойся Фион, что ты на самом деле…»

«Каюром он работал на почте, — продолжал Фионя — почту возил на собачьей упряжке, а летом сторожил собак у протоки, кормил их опаной.. Однажды и залаяли его собаки после полуночи, завыли, как бешенные, вместе с выдернутыми кольями, бьются в страхе об землянку. Приоткрыл Семён дверь и волосы его встали дыбом: по глубо-



кой протоке уходил, поминутно оглядываясь… человек, шел по воде, как по столу, не проваливаясь в неё ни на сантиметр…»

Поражённые, мы только и могли молчать, стараясь хоть как-то осознать происходящее, как вдруг снова услышали шаги… О, Боже! Все повторилось снова, с точностью до секунды: скрип лыж, кряхтение, похлопывание лыж и… стук в дверь… Признаться, остолбенели мы от страха, а стук продолжался: «Открывай, хозяин, замёрз я досмерти!» Что-то знакомое почудилось мне в голосе, открыл, наконец, дверь и… увидел товарища по работе, Витьку Завьялова, с зайцем наперевес.

Так все трое до утра и не уснули. Что это на самом деле могло быть? Возможно ли слышать невозможное? Что это за странное, непостижимое уму, смещённое во времени? Не мистика ли это? Но как бы там ни было, вопросы эти останутся без ответов, потому как такие явления, в конечном счёте, непознаваемы для рассудка простого смертного.

Героев рассказа нет уже в живых. И озеро, и протока, да и вся водная система главной камчатской долины с годами сильно обмелели, утратили, таким образом свою былую мощь, привлекательность, а вместе с тем и загадочность, и таинственность. И кажется, только одни вулканы не желают сдаваться, не перестают восхищать, удивлять…

В ПОИСКАХ ДРЕВНИХ КОСТРОВ

Международная научная конференция «По следам древних костров» проходила в городе Петропавловске-Камчатском осенью 2005 года. Она была приурочена к 80-летию Николая Николаевича Дикова, известного учёного-археолога, много лет отдавшего изучению далёкого прошлого. Это мероприятие живо напомнило мне о моей самодеятельной «экспедиции» по реке Камчатке в 1971 году, где мне и посчастливилось встретиться с этим интересным человеком на Ушковском озере.

Люди, пленённые однообразной жизнью, одними и теми же заботами и суетой, часто не подозревают, что где-то в уголке души таится в них стремление к чему-то неизведанному, романтическому… Подобное я испытал, когда мне однажды совершенно случайно попала в руки книга Н. Дикова «Древние костры Камчатки и Чукотки». Содержание книги поразило меня. Оказывается, на нашем полуострове, на этой самой земле, по которой ходим, много тысячелетий назад существовал совсем другой мир. Мир, который трудно себе вообразить: «Сквозь марево синего стылого тумана морозом веет из мглы тысячелетий. Среди ледяных глыб долины тяжело бредут стада рыжих косматых великанов — мамонтов, носорогов, бизонов. Не отстают от них и люди диких племен — то тут, то там мерцают их спасительные от ужасного холода, костры…»

Так было. Останки обитания первобытных людей, животных до сих пор находят в средней и верхней части реки Камчатки. Не укладывается в голове. В своей книге Диков упоминает об экспедиции в 1961 году. Удивительные открытия сделали они, сплавляясь на катамаране от села Мильково до океана. А многолетние раскопки на берегу Ушковского озера стали настоящей сенсацией: здесь впервые на Камчатской земле обнаружили следы обитания людей в эпоху палеолита. Воспалённое воображение подталкивает на безумные мысли: а что если самим снарядить экспедицию и отправиться по следам экспедиции Николая Дикова? Самим поискать хоть какие-то следы давно ушедших времён? Авантюризм так захлёстывает, что уже отложена поездка на Чёрное море, а во дворе дома, что по улице Санаторной посёлка Садового, вовсю кипит работа: спешно возводится «судоверфь», строится настоящее полукилевое судно с длинным названием на борту: «Степан Крашенинников». О моих спутниках-землепроходцах сказать, что они удачные претенденты на экипаж, — значит ничего не сказать: надо было ещё поискать таких весёлых любознательных романтиков.

И вот наконец ранним утром 10 сентября 1971 года «Степан Крашенинников» был погружен на «КрАЗ», а уже вечером того же дня в селе Милькове торжественно спущен на воду. Не стану описывать подробности 22-дневного путешествия, это заняло бы в рассказе много места, остановлюсь лишь на главном.

Зная о быте, обычаях ительменов каменного века, описываемых Крашенинниковым, исследуем высокий правый берег реки Никулки и видим, к сожалению, только ямы, буйно заросшие травой — это и есть останки юртовищ древнеительменского городища. Зато какой сюрприз преподнес нам живущий здесь рабочий рыбвода, когда открыл нам свой сарай. Мы глазам своим не поверили, когда увидели гору всевозможных фрагментов скелетов, рогов, бивней, всех подряд доисторических животных, нашедших свою погибель в этих местах. Он собирал останки между делом для коллекции, рядом с жильём. Считается, что мамонты вымерли 10 тысяч лет тому назад. Интересно, какое глобальное потрясение обрушилось на несчастную долину, отчего всё живое враз превратилось в гигантское кладбище?.. Я смотрю на гору костей и сокрушаюсь, как же всё произошло? Как будто и не было вовсе никаких эволюций — бежал когда-то здесь доледниковый бизон — и вот, пожалуйста, — в сарае рыбвода лежат его рога…

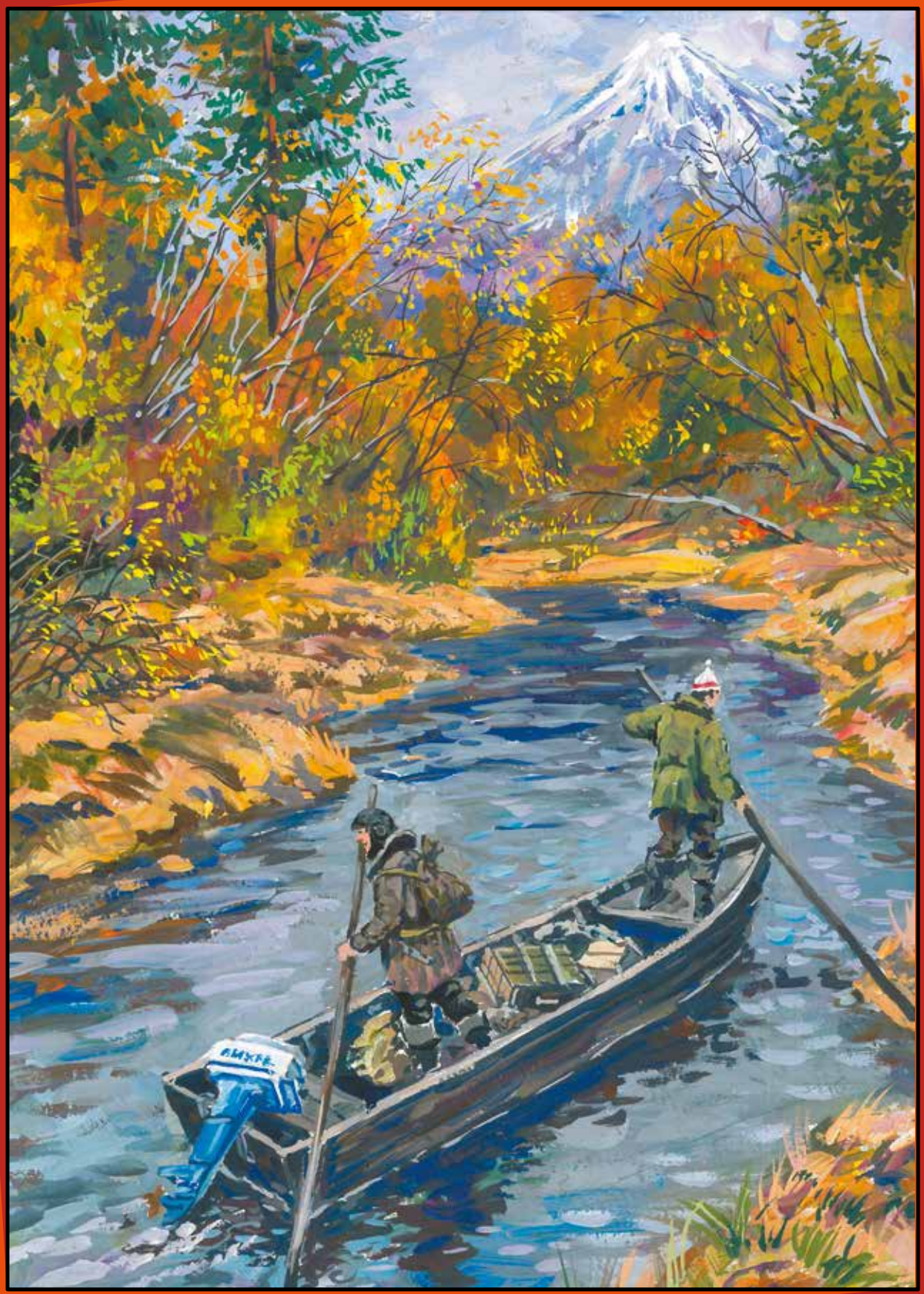
Мы прощаемся с легендарным местом, с тайгой, почти нетронутой цивилизацией, и собираем на обед грибы. Темно в лесу. Даже солнцу трудно пробиться сквозь буйство лиственниц и елей, но стоит выйти на полянку и меняется всё вокруг — душа обмирает от нескончаемого обилия ягод и грибов… Вот они, и здесь, и там опятные семейства, высунулись пузатенькие, затаились. Нарядный лес: старые трухлявые пни — и те приосанились, окружили себя со всех сторон глянцевым брусничником, выставили напоказ вишнёвые бусинки-ягоды…

Погулять бы нам здесь подольше, да зовёт график, ждёт нас впереди уникальное своим археологическим памятником озеро Ушковское. Однажды поздним вечером, выискивая удобное место для ночёвки, зашли в какую-то проточку, поднялись вверх и заночевали на берегу озера. Проснулись от стука в палатку. Какой-то мужичок с бородкой, в очках спрашивает нас, кто мы такие. «Археологи, — отвечаем мы спросонья, — вон на рейде научно-исследовательское судно стоит. Раскопки мы тут ведём». Окончательно проснувшись, я заинтересованно рассматриваю вроде бы знакомое лицо… Где я видел этого человека? Боже мой! Да это же сам Диков Николай Николаевич! Нет слов, чтобы описать наше смущение — вот он перед нами, автор «Древних костров…» Его портрет я видел в книге, и озеро, выходит, как раз Ушковское.

Мы извиняемся, но смеются его глаза: «Никого в раскоп не пускаю, но вас, «археологов», так и быть, пущу». Из рассказа Николая Николаевича мы узнаём о двенадцати культурных слоях раскопа: от каменного века — неолита до древнейшего — палеолита, свидетельствующие о том, что на берегах этого рыбного незамерзающего озера тысячелетиями жили племена первобытных людей. Мы с великим волнением рассматриваем кострища палеолитического слоя, прикасаемся к его округлым, сложенным кольцом, камням. «Так же как и вы сейчас, — говорит Диков, — пятнадцать тысяч лет тому назад сидели у этого костра подобные вам люди — охотники, рыболовы, а вот здесь в вырубленном каменном грунте — погребение. Человек был погребён лёжа на боку в скорченной позе. Большое количество бус из цветного камня и яркая охра указывает на пышность погребения великого вождя».

Надо отметить, что Диков отнёсся к нам, казалось бы простым путешественникам со стороны, с исключительной добротой и уважением, увлечённо рассказал нам о своей работе. И мы в свою очередь благодарили за экскурсию и показали наши находки среза берега реки Никулки — зуб от мамонта и рог бизона.

Вот так! Живём на Камчатке всю жизнь и путём не знаем, что творилось на ней в далёком прошлом. Путешествие протяжённостью в восемьсот километров заканчивается. Остается позади ветер странствий, навевавший нам грёзы одна другой фантастичнее… Сам я родился на Камчатке и большую часть жизни прожил на этой реке. Мои же спутники, городские жители, впервые в таком состоянии, для них всё ново, необыкновенно интересно. С умилением смотрю на Сашу, который никак не выйдет из эйфории: вот стоит он на носу лодки, широко по-морскому расставив ноги, в одной его руке подробная карта с широтами и долготами, в другой — бинокль, в который непрерывно и обеспокоено всматривается в незнакомые очертания — прокладывает путь. Не проглядеть бы ему, штурману дальнего плавания (хоть и не был он нигде дальше реки Авача), Берингов пролив…



И грезится ему, что он вовсе никакой не студент Дальрыбвтуза Саша Матвеев, а матёрый золотоискатель Уилсон… Рискуя жизнью, несётся он по бурному Клондайку (начитался Джека Лондона)… И я, начальник экспедиции, превратился в одночасье в Билла, а Анатолий Мещеряков (капитан корабля) в Смита. Господи! И это мы — взрослые люди! Откуда, отчего всё берётся, выдумывается? И то сказать, какое счастье-то! Никаких тебе ни забот, ни обязанностей, ни угарных машин, ни бетонных квартир, а вместо этого чудесные рассветы и закаты над самой большой и величественной рекой…

Одна охота чего стоит! О вечерних утиных перелётах можно часами говорить — сотни птиц: крякашей, шилохвостей, лутков, чернедей, гоголей, свиязей, чирков, как с цепи срываются, с великим шумом, вал за валом мелькают над нами и справа и слева — идут на кормежку. Пройдёт час, и успокоится, оборвётся воздушная вакханалия, и опять тихо станет всё вокруг. Громадные пространства от красивейшего Харчинского озера до Камаковских угодий — всё заполнено утиным царством: утки жируют, сбиваются в стаи. И мы, отдохнувшие душой и телом, сделались на порядок здоровее, добрее и светлее что ли. Спасибо и вам, притихшие разноцветные осенние берега и невесомые жёлтые листочки, парящие в прощальном вальсе прохладного воздуха, и чует сердце, что не повторится сказочная свежесть подобного путешествия… Такое, наверное, может быть только однажды. Так оно и случилось.

Никогда ничего не вернуть,
Как на солнце не вытравить пятна,
И в обратный отправившись путь,
Всё равно не вернёшься обратно.
Эта истина очень проста.
И она, словно смерть, непреложна,
Можно в те же вернуться места,
Но вернуться назад невозможно.

(Н. Новиков)

Вот и конец пути — Усть-Камчатск. Не увезти нам с собой «Степана Крашенинникова», и мы отдаём его в добрые руки местному камчадалу. Свою лодчонку он не удержал — унесло её в бары, разбило штормом. Время до самолёта ещё есть, бежим на прибойку. Умом не постичь могущественной стихии, не передать все чувства простыми словами, просто стоим перед грохочущим прибоем и молчим, прощаясь…

Много лет прошло с той поры, печальную картину застал я в Ключах, когда снова осенью побывал там. Некогда чистую полноводную реку трудно узнать, стала она какой-то уставшей, обмелевшей… А о процветающем некогда посёлке что сказать? Кончился социализм, и остановился следом деревообрабатывающий комбинат, снабжавший

всю Камчатку, и не только, её своей продукцией. Безработица, разруха… «Раньше, помню, по долам верховья Еловки славно охотились на диких оленей, — с грустью рассказывает старик-камчадал. — Сейчас их практически нет: они ещё на закате советской власти беспощадно и безнаказанно расстреляны с гражданских и военных вертолётов. Уток тоже мало стало, потому как и им, уткам, трудно спастись от скоростных «прогрессов» и современных навороченных ружей «крутых» охотников».

И всё же верить хочется, что придут однажды новые времена, и объявят наши потомки прекрасную камчатскую долину заповедной зоной. Глядишь, оживёт она, вырастут в её верховьях новые хвойные леса, и опять обретёт свежие силы главная водная артерия полуострова.

СЧАСТЬЕ ЖИТЬ

I

Среди громадных пространств западно-камчатской равнины, среди её бесконечных тундр, затерялось некогда ничем не приметное крошечное ительменское село с тёплым названием — Морошечное. В те 50-е годы я и моя молоденькая жена, только что закончившая педтехникум, пытались как раз добраться до этой точки Тигильского района. Пароходом, на батах, а то и пешком, достигли, наконец, верхнего Хайрюзово, а дальше пошла сплошная экзотика. «Провожатых нет, равно как и дорог, на лошадях верхом доедите до Белоголового — коряки там живут — напутствовал нас партийный дяденька в засаленном галстуке и со значком «Ворошиловский стрелок» на груди — а дальше до Морошки ещё километров сто двадцать. Заодно доставите почту — свежие газеты за квартал с важными решениями партии и правительства». Моя бедная Валентина и коней-то близко не видела, а тут бесцеремонно, вместе с важными газетами, взгромоздили её на какую-то косматую с невероятно большим занавоженным брюхом, кобылу, которая к тому же имела, прямо скажем, шокирующую, но красивую кличку — «Джульетта». Я беспокоился за Валю: боясь свалиться, она то и дело повторяла: «Куда мы попали? Куда мы попали? Мы же не знаем даже, куда рулить…»

И чтобы как-то подбодрить её личным примером я, призвав на помощь всех святых, с первого раза благополучно залез на своего коня. И так, ориентируясь по горам и солнцу, тронулись в неизведанный путь. К счастью оказалось, что «рулить» и погонять «транспорт» вовсе не надо: неказистые на вид, но выносливые северные лошади сами знают куда и как шагать, где и как обойти топи, сами подлаживаются по седоков, чтобы не свалились, сами, когда надо, остановятся на добром месте, извинительно посмотрят на вас умными глазами: мол,

отдохнуть пора, травки пощипать. И вы побегаете по ягодникам — разомнитесь. Вон сколько её, ягоды-то! — вся тундра посинела от спелой сладкой голубики…

Удивительно, как всё необыкновенно просто и ладно в этой дикости! И мы, выходит, дикари: наивные, еле одетые, не совсем сытые, без денег (деньги, впрочем никто с нас не спрашивал, не требовал) бросились, не глядя, в несусветную глушь, где ни света, ни радио… ехали учить — просвещать, отсталых от цивилизации аборигенов, которые, как потом оказалось, сами многому нас научили, согревали своим добродушием и вниманием. Сейчас же мы терялись в догадках: что ждёт нас? Что это за люди такие — коряки? Сам я, правда, кое-что слышал о них, Валентина же была в полном неведении, да и вообще она всё время пребывала в шоке: то, что она двенадцать часов кряду (60 километров) тряслась по болотам от верхнего Хайрюзово до Белоголового — было ещё полбеды. А то, что увидела в самом Белоголовом, куда мы еле добрались к ночи, повергло её в неописуемое смятение…

Представьте картину: дождь, ветер, оглушительный бой бубнов, пьяные гортанные звуки, собачий вой… и всё это в кромешной тьме… Встречать нас было некому. Бедная моя Валентина решила — всё! Вот он, пришёл конец, когда в малюсенькую школу где мы укрылись, ввалился, как нам показалось в потёмках, страшный человек в шкурах, да ещё и с громадным, в шерсти, куском мяса в руках… «Амто!» — закричал он во всё горло… Уже потом мы уяснили, что всё происходящее — в порядке вещей, оленеводам дали аванс и они «расслаблялись» после тяжёлой кочёвки. А «амто» — это ничто иное, как доброе приветствие. Подаренная же парная оленина была как раз кстати — мы буквально щёлкали зубами от голода. Село Морошечное куда мы, наконец, добрались, встретило нас необыкновенной тишиной и каким-то умиротворённым спокойствием. И река Морошечная, протекающая рядом, и её тундровые притоки, тоже были такими же сонными — с медленным плавным течением.

И жители села — ительмены тоже, на первый взгляд, показались тихими, неторопливыми. Но это на первый взгляд. На самом деле, когда надо, они практичны, смелы и ловки, всегда у них вдосталь и мясо, и рыба, и дикоросы. Чистенько, аккуратно в избе Трапезниковых. Деревянный не крашенный пол и тот выскреблен, поблёскивает желтизной. Как же! — Гости у них! На столе дымящаяся картошка и нарезанная ровными полосками малосольная сёмга. В глубокой тарелке она сразу утонула в собственном розоватом жиру (полвека прошло, а слюнки проступают и сейчас). Старушка всё больше молчит, а вот деду не терпится по должности (он самый главный в селе и к тому же коммунист) покритиковать меня, молодого избача-киномеханика: и движок, мол, глохнет и фильм рвётся на самом интересном месте. А ведь знает наперёд, что двухсильному трофейному движку давно на погост пора и не заведёшь его никогда, пока не раскалишь докрасна паяль-

ной лампой, а латанный, клееный — переклеенный «Чапаев», тоже не сегодня-завтра испустит дух. «Чапаев» — это фильм такой, который (за неимением другого) уже в десятый раз смотрят селяне. Однако же, как и в прошлый раз, расстаёмся по доброму, как будто на самом деле решили проблемы культурного фронта. И вот в этом-то селе, в его размеренной идиллии, где, казалось, никогда ничего не может случится или что-то произойти, как гром среди ясного неба, перевернулось однажды всё сосуществование — пришла большая беда: потерялась, исчезла бесследно десятилетняя девочка.

Но прежде чем приступить к рассказу, поведать хочется об одном уникальном местечке, откуда собственно и пойдёт начало невероятного, драматического события. Представьте себе: среди однообразной тундры, её ровной безмолвной поверхности, вдруг как в сказке на фоне синего круглого озера возникает перед вами каменистый, с карликовыми берёзками и кедрачом, островок. Издали он кажется таинственным и необитаемым, но стоит приблизится к нему, оживает внезапно и небо над ним становится белым. Это встревоженные чайки враз взмывают со свои гнёзд. Они кричат истошно, пикируют в полуметре от вас, вот-вот захлопают крыльями, заклюют насмерть, и поневоле обомлеешь от неожиданной атаки, от круглых злобных глаз, в которых не страх, не ужас, а настоящая ненависть. И то сказать: непрошенные гости нарушают их мир, посягают на их сокровища — яйца! На мшистом покрывале, под кедрачами их несметное количество — ступить негде! Вот уж где действительно живая картина первозданности!

В такую-то пору и пришли сюда ребятишки из Морошечного. На плотике переправились на остров, набрали яиц, переложили их мхом, чтобы не разбились и отправились в обратный путь. Только у села обнаружили дети, что среди них нет Люды Запоротской. Отстала? Всем селением много дней и ночей искали девочку. Прочёсывая маршрут «село-озеро», обследовали каждый метр близлежащих островков леса, напрасно всё, как будто и не было её вовсе.

II

Пока Люда возилась с поклажей, рябят уже не было видно. Кругом куда ни глянь — одинаковые, с высокой прошлогодней травой, кочки. Стала звать — тишина вокруг, куда идти?

Сосредоточится бы ей, выбрать направление… Но куда там! Охваченная страхом бросилась бежать где посветлее да посуше — куда глаза глядят… И, наконец, очутившись в совсем незнакомых местах, поняла, что заблудилась окончательно. Темнело. Лёгкая одежонка и мокрые ноги давали о себе знать, надо бы согреться и девочка залезла в сухие кедрачи, закуталась в мох… Светало. Дрожащая от холода, высунулась из своего укрытия, огляделась. Вот солнышко выкатилось большое, красное… И ранняя пташка, севшая рядом тоже стала красной; склонила головку, уставилась… Не так уж всё страшно, она цела и

невредима, надо только поскорее бежать и бежать непременно в одну и ту же сторону до тех пор, пока не наткнётся на реку или на старую тропу, по которой раньше возили на коне банки с кинофильмами и её, конечно, обязательно найдут!

Но по-своему распорядилась судьба. Дни шли за днями, а бедный ребёнок, один в необъятном пространстве, тащился по неверному пути… Страдания от ночных холодов, одиночество, голодные обмороки и страх перед волками, делали своё чёрное дело — силы и воля оставляли её. И когда однажды, после очередного забытья, она словно наяву увидела перед собой страшную звериную пасть, всем существом поняла, что долго не протянет… безысходность и отчаяние с новой силой навалились на неё. Нету уже больше никаких сил тащиться по ненавистным кочкам, обходить предательские зыбуны… Но как раз в этот-то критический момент и высмотрела Люда возвышающийся вдали косогорчик, постепенно переходящий в сопочку. Вот куда надо двигаться! Появился шанс найти на склоне прошлогоднюю брусничку, а то и черемшу, а если поможет Бог, то и добраться до самой-самой вершины и тогда можно определить, рассмотреть, что скрывается за ней.

Шел восьмой день борьбы за жизнь, когда девочка, наконец, доползла до гребня — впереди до самого горизонта простиралась точно такая же тундра. Смертельная усталость валила с ног. Люда опрокинулась на нагретый солнцем плоский камень, закрыла глаза… Хорошо здесь… Никуда ей не надо… Вместо страха и слёз — успокоенность, приятная неподвижность… Шевелит её волосы прохладный ветерок, ласкает лицо, навевает воспоминания… Вот на бату плывёт она с мамой за морошкой по родной, милой сердцу, реке Морошке… Уток, куликов на ней великое множество, близко подпускают, не боятся нас, словно знают, что нет у нас ружья, не убьём их…Вот пристаём, наконец, к заветному месту. Что твориться здесь! Сколько морошки! Весь берег кажется жёлтым от крупной, сочной, спелой, сладкой морошки!… Люда облизывает пересохшие губы и безучастно смотрит в чужое бездонное небо. Во-о-он там парит какая-то большая птица… Всё ближе и ближе она…планирует кругами, снижается… Что это? Орёл? Боже! Он высмотрел её, пасёт… Дрогнуло сердечко, затрепыхалось в груди. Нет, нет! Только не это! — и девочка стремительно бросается вниз, в спасительные стланики.

III

Каждое утро осматривает старый оленевод своё пастбище и ругается последними словами. И то сказать, совсем одолели волки: опять ночью задрали важенку. Долго, очень долго смотрит в бинокль Кечгеплеп и никак не может понять, что шевелиться за кедрачом? Неужели волк? Теперь уже не бинокль, а винчестер в твёрдых руках; ещё мгновение и меткая пуля поразит цель. Но не стреляет он и снова

смотрит в бинокль: странно… на волка не похоже… надо проверить… Многое видел на своём веку битый жизнью коряк, но чтобы такое… Отшатнулся он в страхе и волосы встали дыбом: какое-то живое, косматое в лохмотьях существо, похожее на человека, расковыривает, подобно, мышонку, кочку, выковыривает из неё белые корешки и тут же суёт их в рот…

Трясущимися руками поднял он невесомую находку и отнёс в юрту. Это была Люда, шел двенадцатый день… Днём и ночью заботились о девочке обитатели корякской юрты, лечили травами, отпаивали мясным бульоном. И надо было видеть их изумление, когда заговорившая, наконец, Люда, рассказала кто она и откуда…

IV

Тарахтит в селе допотопный движок, изо всех сил старается — вырабатывает ток. Означает это, что в избе-читальне крутят кино, опять показывают «Чапаева». Кинопроектор «Украина» не даёт звука, но изображение есть и зрители наизусть знают все движения артистов: вот раненый в руку Чапаев плывёт по широкой реке. «Врёшь, не возьмёшь!» — приговаривает он. — Но пули всё ближе и ближе булькают вокруг, ещё мгновение и … и, вдруг раздаётся истошное: «Люда нашлась!!!» Как ветром сдуло зрителей. Возможно ли такое? Но не протиснутся уже в малюсенькую избу Запоротских. Окружили селяне со всех сторон мужественную девочку и её поседевшую маму, целуют, щупают, прижимают к себе, разные сладости суют — не знают, как выразить свою радость, унять волнение… И Люда в таком же состоянии, улыбается радостно и уже в который раз пересказывает свою историю. В её увлажнённых, повзрослевших глазах лучится великое счастье — счастье жить!

ДЫМОК

Коротая время в ожидании вертолёта, поймал себя на мысли, что не могу оторвать глаз от сторожевой собаки аэродромного сторожа. Привязанная на ржавую цепь, она тоже смотрела на меня неотрывным настороженным взглядом. Всю жизнь, наверное, просидел пёс на цепи, на сыром земляном полу, подумал я, потому и облезлый весь, тощий, неухоженный, а в больших глазах его, если всмотреться, такая безудержная тоска, обречённость ли, что плоховато стало в груди, в горле комок образовался… Умными показались его глаза, погладил его ласково…

«А что, если собаку взять с собой?» — обратился я к напарнику. «Что ты, что ты! С ума сошёл? — закричал он. — На что она нам беспородная-то, к тому же больная, похоже, а может и глупая к тому же!» «Берите, берите не раздумывайте, вмешался в разговор подвыпивший сторож,

всё одно кормить ее нечем… Может и пойдет на зверя… После охоты вернёте. Дымком его кличут». Вижу я, что понимал пёс: решается именно его судьба, вылез из конуры, придвинулся ко мне. «Не поеду без собаки», — твёрдо сказал я. Александр посмотрел на меня нехорошо, мол, знал бы и тебя не взял с собой. Но сдался: «Учти, если нужна она тебе, ты и отвечай за неё». Александр слыл опытным соболятником, но отчего-то охотился всегда в одиночестве и собак не любил на охоте. Но с годами всё трудней приходилось ему в тайге, вот и зазвал меня — пенсионера к себе, мол, легче будет с тобой и ты получишь кайф: природу поснимаешь, глухарей, куропаток постреляешь, а может статься и соболька добудешь сам.

После двухчасового вертолётного грохота и тряски, пространства угодий показались нам раем. Александру не впервой, а мы с Дымком не могли прийти в себя от изумительного осеннего пейзажа смешанного леса, гор с блестящими от солнца снежными вершинами, пахучего под ногами ковра спелой крупной голубики и… тишины! Звенящей, какой-то неземной тишины! Вот такое первое очарование испытали мы от действительно нетронутой цельной природы!

Время не ждёт: Александр взялся за ремонт избушки, порушенной медвежьим визитом. И у меня тоже «забот полон рот»: до снега надо заготовить всевозможных ягод, грибов, кедровых шишек, наловить на мелководье протоки рыбы — крупных осенних кижучей… Хорошо мне с Дымком: на дикой природе и свежих харчах он весь преобразился. Справным стал, весёлым, гладким красивым псом, тайгу полюбил, мог часами обследовать каждый её уголок. Но случилось: пропал однажды надолго. А когда я вернулся с вечерней рыбалки, почувствовал недоброе.

«Явился твой пёс час назад, — ёрничал Александр. — Еле живой притащился, где его носило, не знаю. Наказал я его: пнул пару раз как следует. Будет знать, как бросать хозяина. Обиделся, видишь ли, есть не стал. Ушёл куда-то. Ничего, жрать захочет — придёт».

Время уж за полночь, а я не сплю и чувствую, не усну вовсе. Надо искать собаку. Всё выше и выше забираюсь с фонариком на гору, зову, зову. Смотрю, зашевелилось что-то в кедрачах, вылез Дымок, стоит с опущенной головой, да как бросится мне на грудь и лижет, лижет моё лицо, скулит, вроде как плачет. Растерялся я: «Дымок, Дымок, да что это с тобой?» Честно сказать удивился его поведением… С тех пор мы ещё лучше стали понимать друг друга, а потом и вовсе сдружились после одного интересного события.

Было это уже в самом разгаре зимы. Решили мы однажды подняться до самого верха высокой горы в надежде заснять на фотоплёнку снежных баранов, но, как оказалось, не рассчитали своих сил в глубоких снегах перевала и пришлось нам коротать ночь в лесу. До самой земли вырыл лыжиной снежную яму, натаскал веток, древесной коры и распалил рядом большой костёр. Теплей стало в морозной ночи, прижал

Дымка к себе поближе и… сморило меня-таки: уснул я. И чудится мне сквозь сон, что где-то далеко-далеко слышится собачий лай. Стараюсь освободиться от наваждения, но тщетно. Очнулся от жуткого холода и какой-то тревоги. Нет рядом Дымка. Прислушался. И точно! В тёмной ночи явственно слышится вязкий собачий лай. Это Дымок! Путаются лыжи в глубоком снегу, падаю и бегу. Но вот, наконец, и берёза громадная обозначилась в темноте, вокруг которой визжит, извивается в исступлении Дымок. Непостижимо! Вместо того, чтобы вконец уставшему за целый день грохнуться, уснуть вместе со мной мёртвым сном, искал, выслеживал что-то в тёмной морозной тайге, загнал наконец-то зверька на дерево, теперь сторожит его, ждёт, зовёт меня.

… Выстрел и летит в снег поверженный красавец-соболь. Спасибо тебе, Дымок, теперь можно и домой. Бежит впереди, умница, для порядка задирает голову вверх, пробует чутьём морозный воздух, поглядывает на меня украдкой: посмотри-ка, мол, какой я молодец! Что и говорить: конечно молодец и мне с тобой славно и легко. Мы настоящие охотники!

Сезон охоты заканчивался, а Александру по плану надо ещё попасть на Еловское угодье и полегче было бы ему в тех густых ельниках с Дымком. Жаль мне стало осунувшегося, уставшего за сезон Александра. Разговариваю теперь с Дымком, как человеком. «Иди, Дымок, помоги ему, за соболями погоняешься, а я займусь тем временем фотоохотой, буду ждать твоего возвращения».

Вернулся Александр через неделю, без собаки пришёл. Ушёл от него Дымок. Прямолинейной цепочкой следов ушёл точно на север. Через два дня в перекличке по рации узнали мы, что в соседнем северном угодьи притока реки Еловки неожиданно появилась неизвестная собака и, как рапортовал охотник, появилась весьма кстати: его собаке Дамке требовался любовный партнёр и что парочка, как видно, счастлива и на охоте удачлива.

Наступила весна и полетел Александр в Ключевской госпромхоз за добытых соболей получать деньги. И я очень просил его подробней узнать всё о Дымке. Здоров ли он и какова его теперь судьба.

Выполнил мой наказ Александр, и вот что дословно рассказал он, вернувшись с Ключей.

«Сдох Дымок. Якобы у того охотника понесла Дамка красивых здоровых щенят, а сам Дымок оказался ненужным и его, как договаривались, вернули прежнему хозяину — сторожу аэропорта. Говорят, что больше недели посаженный на цепь Дымок не ел, не пил и из конуры не выходил, да там и сдох по непонятным причинам».

Просто, буднично и спокойно, без всяких признаков видимого сожаления Александр так и выразился: «Сдох по непонятным причинам».

Доживая свой век, всё чаще испытываю я потребность обратиться к своей памяти, выискать в ней наиболее интересные моменты, успеть рассказать о них собеседнику. Потом я думаю, успокоятся удовлетворённостью душа и сердце и опять уляжется всё на свои привычные места.

Вот эпизод из далёкого послевоенного времени, когда я пацаном впервые без знаний и опыта зато с горячей мечтой собрался на охоту не на зайца или какую-нибудь куропатку, а именно на соболя! Еще с вечера подогнал юкши к самодельным лыжам, прошустовал нещадно гремящий всеми изношенными частями дробовик, сложил в жестяную банку из под (когда-то кем-то съеденного) абрикосового компота, головку сахара, щепотку чая, кусок хлеба с юколой и… Как говорится — вперед! Но не тут-то было: уже на первых порах, с трудом передвигаясь по глубокой снежной целине, взмокший от пота понял, что не хватит сил преодолеть перевал и что разумней было бы вернуться назад, как вдруг и увидел след, соболиный след! «Ха! Ну и слабак ты Федька! — нарочито громко срамил я себя. — Раскис, как девчонка! Вот она, настоящая-то охота только и начинается!»

Но день клонился к концу, а я, превозмогая себя, упрямо тащился по нескончаемой цепочке следа. Вот-вот оборвётся он где-нибудь под берёзовым корневищем или в дупле и тогда… Но всё быстрее темнело вокруг и след уже не казался свежим, к тому же всё чаще пересекался он с другими, точно такими же следами и невозможно уже на сумеречном снегу понять, разобрать звериные хитросплетения… Чуда не свершилось, не настиг я соболя.

Обескураженный, полумертвый от усталости и голода, сижу теперь в снежной яме и на все лады проклинаю затерявшийся в темноте след и всю эту несчастную охоту и невесть откуда возникшую метель, которая моментально с воем и стоном занесла все следы, сравняла, замела всё вокруг, оставила меня одного на произвол судьбы. Вот уж, воистину: «охота пуще неволи». Жутко и тревожно на душе и льются слёзы то ли от обиды и страха, то ли от дыма чахлого костерка, на котором пытаюсь просушить худые ичиги и насквозь мокрые холщёвые портянки. Понесла же нелёгкая за каким-то мифическим соболем, которого никогда и в глаза-то не видел… Бог ты мой! Не уснуть бы мне до утра, не замёрзнуть до смерти…

Так, ругаясь и одновременно подбадривая себя, сушу мокрую от пота одежду и не замечаю, что мысли мои опять невольно возвращаются к соболю, самой желанной добыче — этому истинному богатству, за которое можно отоварить много муки! И грезится мне сквозь дремоту моя натруженная мама, как будто плачет она и сквозь слёзы тоненьким голоском поёт старинную песню про чайку, которую для потехи убил безвестный охотник…



Потом радостной вижу её. Печёт она у раскаленной печки пахучие рыбные пироги. Много пирогов, на всю нашу многочисленную ораву хватит. Печёт и похваливает меня — охотника, мол, сподобился Федька-то… Это надо же столько муки отоварить!

Портянки меж тем подсохли — на очереди телогрейка. В её глубоком кармане нащупываю самое ценное: тщательно завёрнутый в тряпку патрон. Гладкий, тяжёлый и… единственный.

Снаряжен он самодельной дробью и размельченным артиллерийским порохом. Всё это богатство накрепко запыжовано и залито сверху свечкой. Одолевает, однако, дремота и чтобы как-то не уснуть разговариваю теперь уже с ним — с патроном.

Но клонится голова, неумолимо наливаются свинцом веки… разжать их уже невозможно… Портянки, патрон, мука, соболь, всё перемешалось в утомленной голове, унеслось в неведомое пространство…

…Очнулся внезапно, окоченевший вконец, выглянул из своего убежища и… не узнал вчерашнего леса. Вот это да! От ненастья и следа не осталось. Красота-то какая кругом! Брызнули на поляну первые солнечные лучи, заиграли, засверкали они на причудливых берёзовых куржаках, вытолкнули меня скукоженного из снежного плена и куда только ночная хандра делась? Господи! Откуда силы взялись?! Снова я на лыжах и почти сразу же (счастье-то какое) вышел на действительно «горячий след» только-только пробежавшего соболя, который и привёл меня к старой дуплистой берёзе.

Соболь в дупле сидит… Заколотилось в груди: не спугнуть бы удачу. В великом волнении проталкиваю патрон в ружье, взвожу курок и сразу же, совершенно неожиданно вижу взметнувшегося на верхушку дерева зверька. Не промахнуться бы… Через мушку ружья, с расстояния двадцати метров, я впервые жадно рассматриваю настоящего живого соболя, его призывно изящную, переливающуюся на солнце великолепную шубку, хвост… Вот он, перебирая цепкими лапами достиг самой верхней ветки и только теперь удивленно уставился на меня своими чёрными бусинками-глазками. Удивляется, наверное, что это за неведомое чудище шевелится в снегу? Не угрожает, однако, не нападает. И я в свою очередь в каком-то колдовстве: только и вижу, сквозь небесную синеву красавца-хищника и кажется мне что краше его нет ничего на свете! Давно пора бы выстрелить, но замер палец на спусковом крючке… Меж тем и соболь не стал искушать судьбу: резко отталкивается он и летит в свободном полете в снег, доверительно смотрит на меня в последний раз и без остановки большими скачками удаляется прочь. Более полувека прошло с той поры, а я до сих пор совершенно отчётливо помню каждый миг, каждую деталь очаровательного видения и вспоминая задаю себе вопрос: почему не выстрелил тогда, лишил себя дорогой добычи? Но… путного ответа не находил. Много позже случалось видеть мне в капканах замерзших соболей. Их скатанная в крови шерсть и застывший

в предсмертной агонии оскал зубов производили тягостное впечатление, заставляли задуматься. Теперь, пожалуй, легче ответить на тот вопрос, почему не выстрелил, не убил.

ЦВЕТЫ И ЖЕНЩИНЫ

«За всё тебя благодарю:
За нежность губ, за ласки рук.
Я песнь свою тебе дарю,
Моя любовь, мой милый друг».

Вот такие ласковые слова мы сегодня и говорим вам, наши дорогие женщины!

Кстати, обожествляли женщину всегда и во все времена, сравнивая её с самым загадочным существом на свете, — с цветком!

И это правда! Разве не говорим мы о женщине, что, полюбив, — она расцвела, а без любви — увяла? Разве, разглядывая цветок, не восторгаемся его идеальной формой венчика, синхронно расположенных лепестков, их удивительной раскраской, уникальным ароматом?

А если нет на земле некрасивых цветов, то могут ли быть на свете некрасивые женщины? Конечно же нет! Но так уж устроен мир: одни из них привлекательны и даже блистательны, как те шикарные орхидеи или георгины, про которых говорят, что: «красота спасет мир». Другие, как васильки или незабудки, на вид просты и вроде бы неприметны. Но вот что интересно: в сердцах наших, похоже, они самые любимые, самые задушевные! И как сказал поэт: «Веет от них красотою стыдливою сердцу и взору родные они». Вот и получается, что каждая женщина в отдельности тем и интересна, что по-своему неповторима и чем-то, какой-то чёрточкой, прелестна, как те прекрасные цветы!

А цветение человеческой души в день 8 Марта — это и есть праздник, пусть с циклонами и сугробами, и даже не совсем он весенний, но зато с заветными мечтами о том, что брызнут однажды девственной белизной черёмуховые соцветия, а вдоль дорог и тропинок выстроются, как напоказ сиреневые ряды весёлого кипрея — камчатского Иван-чая. Они, по крайней мере, роднее и милее тех привозных, ничем не пахнувших, в дальней дороге замученных голландских цветов.

Дорогие наши женщины! Дай бог вам счастья, любви и, конечно же, любимых вами живых цветов!

Жили-были старик со старухой, живут и сейчас у самого берега реки Авача, и зовут их Иван да Марья. Старуха как старуха, а вот дед… бывший бравый моряк тихоокеанского флота с легендарного парохода «Коккинаки», он резко отличался своею статью от супружницы, сохранил доселе боевой дух, морские порядки и имел стройную фигуру. Неизменная кокарда на видавшей виды фуражке, тельняшка, а также пышные усы и орлиный взгляд дополняли и без того респектабельный вид, вызывая к себе повышенное внимание окружающих простолюдинов. Но самое поразительно состояло в том, что он в свои 84 года ни разу в жизни не болел и в больницах соответственно не был никогда.

Вся его жизнь протекала на воде: в рыбалке, охоте. Другими словами, он вёл, по его выражению, «природную жизнь в свободе и независимости». А окружающие его люди… ну никак не понятны ему. Все они какие-то… немощные, что ли… больные ли… бродят и бродят по Елизову один за другим, как стадные коровы… А если и заговорят, так только про лекарства, про давление, да про хондроз — смотреть и слушать противно — поутопил бы всех… И чем дальше, тем больше упивался дед своей исключительной жизнестойкостью и.. мало-помалу потерял нюх: загордился безмерно, всех больных презирать стал, даже свою родную вечно хворающую старуху и ту «занеуважал», приговаривая неизменное: «Топить пора».

Но, как говорится, «ничто не вечно под луной». Однажды, в самом зените славы, заколoло что-то у него в мочевом пузыре, да так, что ни охнуть, ни вздохнуть.

«…Сдавать анализы?!! Да ни за что! — Бушевал он. — Я! Морской волк! Да с мочой?!! Да пусть лучше я уйду на дно, раз навсегда насовсем! Утоплюсь к чертовой матери вместе с колосниками… Не понесу!!!»

Ревёт, разрывается на Аваче мотор «Вихрь», выделывает дед на своей «казанке» немыслимые виражи — пугает прибрежный народ. Метеором вылетает на просторы Авачинской губы, вострится орлиным глазом в океанскую пучину — авось поможет родная стихия в роковой час? Но напрасно всё! Пуще прежнего свербит и колет в утробе, вот-вот испустится дух… Нету больше сил, поломалася воля и… решается наконец-то дед: заготавливает в чулане свой «продукт», а утром чуть свет, когда все ещё спали, даже собаки — понёс…

Добрался до окошечка ненавистного кабинета, поставил бутылку и только стал протискиваться к выходу, как вдруг услышал: «А ну-ка вернитесь, гражданин, вы что это нам принесли?»

Дальше дед ничего уже не мог слышать, потому как бежал. И куда только недуг делся, напрямки бежал огородами, выкрикивая на ходу:

«Дождался гад! Так тебе и надо! Вон она оказывается какая больница: позорят как хотят, изгаляются принародно!»

Подруливая к избе (час от часа не легче) услышал он знакомые старухины вопли… «Опять что-то ищет старая карга, она всегда воет когда ищет».

И… вдруг страшная мысль молнией пронзила всё его существо. Рванул в чуланчик — так оно и есть! На полке мирно стоял, красуясь… злополучный анализ — старуха же безуспешно искала подсолнечное масло.

На дворе вовсю припекает весеннее солнышко. На нагретой солнцем завалинке прижались друг к другу старики.

«И вовсе никакая она не карга, — поглядывая на Марью думает Иван, симпатичная старушечка…»

Сидят они на тёплой завалинке и знай хохочут. Прямо-таки от души заливаются, вспоминая событие не столь отдалённое.

ПЕРЕЦ

В то время, когда советская власть закончилась, а прогрессивная часть россиян, путём проб и ошибок, ударилась в бизнес, я подумал, что и нам пенсионерам негоже стоять в стороне от веления времени и отправился с бутыльком к соседу по даче, — с предложением начать собственное дело. Зная доподлинно, что свернуть Антоныча с его, прямо скажем, утопического курса сложно, решил я действовать как бы издалека, исподволь, и только после третьей рюмки приступил к своей программной речи. «Ты ведь знаешь, друг, что я очень уважаю тебя за то, что ты до мозга костей настоящий коммунист, и в парткоме… не покладая… э-э-э… творил… и проклятых американцев-капиталистов, мягко говоря, не сильно любил, но понимаешь ли… э-э-э… как бы это сказать… ты ведь сейчас в некотором роде тоже… капиталист… всё время был социалистом, а почему-то стал вдруг… странно как-то… сделался ты отчего-то… как бы новоиспечённым борцом за капитализм…»

Заметив, что изумлённое лицо Антоныча приобретает угрожающий вид, я тут же сменил пластинку и поспешил перейти ко второй части вопроса, с каким, собственно, и пришёл к нему. «Ты посмотри, что делается: паника кругом, разруха, в магазинах шаром покати, кабачковой икры — нашей закуски — и то не стало! А накопления наши, какие-никакие, и те утонули в каком-то дефолте! Нет! Бизнес и только бизнес спасёт нас! Мы с тобой не рвачи какие-нибудь, но… могли бы для начала продать кое-что со своих дач… у меня малины излишек, а у тебя, я смотрю, тьма перцу уродилась. Не виноват ты, конечно, что вместо сладких уродились жгучие, но, может, кто и клюнет на эту красную стервозность, может явиться на базар, скажем, кок с большого траулера, да и закупит всю партию на всю оставшуюся жизнь, считай, всего-то полстручка может хватить на десять котлов…»

На этом месте мой словесный запас иссяк, чем и не преминул воспользоваться Антоныч. «Да я всю жизнь… от и до отбарабанил… на Доске почёта висел… грамоты… и чтоб позорно стоять на базаре рядом с товарками, у которых не стыда, ни совести, со спекулянтами разными, которых в тюрьму упечь… Да пусть я лучше век буду питаться одной морковкой, чем попущусь достоинством…»

На другой день явился-таки сосед. «Ладно, уж… согласен я… Один раз можно и попробовать, но с условием: торговать будем не в Елизове, где нас каждая собака знает, а в Питере».

В те времена рынок на Комсомольской площади Петропавловска представлял собой длинные дощатые, без крыши, прилавки, где мы и разместились. Мою малину, к моему великому удивлению, расхватали сразу. Боже мой! Я весь вспотел от волнения, не успевал засовывать в карманы денежную массу. Через пятнадцать минут всё было кончено. Куча денег! Славно-то как! Были чужими и моментально стали моими! За пятнадцать минут — двухмесячная зарплата на производстве… А вот перцы соседа никто не брал. Предложил я, было, бросить их и поехать домой, но упёрся Антоныч, может, подумалось мне, надеялся он на того мифического кока…

Делать нечего, стал я изучать соседей-торговцев. Вот дядька поливает водой листья хрена, хочет, наверное, чтобы они хоть как-то реанимировались и приняли божеский вид… Чуть поодаль — старушка с капустными пирожками. Пирожок-то остался всего один и капуста из него наполовину вылезла, а стоит ведь, ждёт до последнего… Унылая картина, задремал я было, как вдруг всё враз оживилось.

С недопитой бутылкой в руках и весёлой громкой песней «… р-р-радость безмерная-я, нет ей причи-и-ны, Санта Лючи-и-ия, Санта-а-а Лючи-и-ия…» появился меж рядов бравый в тельняшке моряк. И, что удивительно, шёл прямо к нам. «О-о-о! Закусон!» — прокричал он и, бросив на прилавок достойную купюру, затолкал в рот самый крупный и самый красный стручок… (Не знал, наверное, бедолага, что перцы разные бывают). Это было что-то! Волей-неволей мы вынуждены были с вытаращенными глазами и страхом наблюдать, как у покупателя вывалилось что-то изо рта, похожее на язык — громадное, распухшее и побелевшее… «А-а-а-а-а!» — неслось по всей Комсомольской площади. Пробегая второй круг, моряк вырвал из рук насмерть перепуганной бабушки пирожок, но заклинило рот — не закрывался он. «О-о-о-о-о!!!» — помчался моряк на третий круг (видать, легче ему было в движении).

В это-то момент и появилась на арене пышная, грудастая, краснощёкая краля. Она с достоинством выставила на прилавок большое эмалированное ведро, полное жёлтой, с жирными пенками, ряженкой; оглядела презрительным взглядом несостоятельных торговцев, сняла с ведра марлю и… вдруг увидела бегущего к ней мужчину. Наверное, хочет он, опережая конкурентов, оптом закупить всё ведро?.. Но, как говориться, судьбу не обманешь. Моряк резко притормозил и, дико


12-18 КЧН

взглянув на ведро, сходу, по самые плечи засунул пылающую косматую голову в прохладный напиток… «Бежим…» — прошептал Антоныч, и мы, оставив на прилавке злосчастный продукт, исчезли.

Через неделю, я снова появился у соседа с новой обнадёживающей бизнеспрограммой, но это уже, извините, другая история.

НАВАЖДЕНИЕ

Погода, наконец, установилась, и я чуть свет выехал на дачу, чтобы заняться накопившимися делами.

До восхода солнца, как видно, далеко, но уже закраснелся окраинами восточный горизонт, и обозначилось тёмно-синее небо. На объездной дороге тишь и благодать, и ни одной не видно машины ни спереди, ни сзади. Захотелось остановиться, вдохнуть полной грудью застывший кристально чистый воздух, полюбоваться окрестностями, утонувшими в плотном, как вата, тумане.

Вот справа — заброшенные совхозные поля. Обычно невзрачные на вид, они сейчас принарядились дымящим тонким туманчиком — глаз отвести невозможно.

Слева же другая картина: знаменитых наших вулканов не видно вообще и не понять: то ли туманом они заслонились, то ли белыми облаками, и только самая верхушка корякской сопки отчётливо выделялась на небосводе: она, как зависшая в галактике загадочная планета, представляла теперь необычайное зрелище.

И всё же что-то неуютное, если не сказать тревожное, сквозило в этой красоте: ни пташек, ни даже ворон не видно — кругом мертвая безлюдная тишина и состояние такое, что вот-вот должно произойти неожиданное, и я поспешил продолжить свой путь. Но не проехал и полкилометра, как увидел на дороге какое-то белое неподвижное пятно. Чтобы это значило? Курица! На мокром асфальте преспокойно сидела… крупная белая курица.

Странная птица не кудахчила, не убегала от меня. Напротив, она как будто только и ждала того момента, когда я подъеду и заберу её к себе. Что делать? Поднял её, посадил на заднее сидение, и мы поехали дальше, но ни проехали и ста метров, как на дороге обозначился второй пассажир — вторая, точно такая же смирная белая курица. Силы небесные! Да что это за наваждение такое?!

Поразительно, что поведение и повадки второй курицы были точно такими же, как и у первой: она не кудахчила и не пыталась убежать от меня, как будто только и ждала попутного транспорта. Признаться, страшновато мне стало, но не оставлять же продрогшую курицу одну на сыром холодном асфальте, и я усадил её рядом с первой. Но вот наказание: не успел я тронуться с места, как издали увидел третий экземпляр. Ладони мои вспотели… Здоров ли я?! Хотел было проскочить

мимо, но какая-то неведомая сила остановила меня. В сердцах схватил злосчастную курицу за хвост и зашвырнул её на ещё свободное место заднего сидения, оглянулся: все три курицы — о! ужас! — как будто подмигивали мне. На четвертую курицу я чуть не наехал от сильного волнения. Слава Богу, рядом уже был поворот на родной СОТ и только на даче я, наконец, перевел дух.

«Ты что, Афиногеныч, кур купил?» — допытывались соседи.

«Какое там!» — отвечал я и начал было рассказывать: «Еду, значит, я и вижу, на дороге курица сидит, подобрал её, еду дальше, смотрю — вторая курица на дороге...» Дружный смех не дал закончить рассказ. Не поверили.

А разгадка-то до банальности проста. Оказывается (узнал я потом) впереди меня на большой скорости мчался грузовик, вёз в Петропавловск нерентабельных кур на убой. По-видимому, дверка одной из клеток открылась, и куры, которые, наверное, догадывались, куда их везут, стали по очереди одна за другой выходить из клетки, где их тут же воздушным потоком сносило с грузовика, и они, как парашютистки с нераскрытым парашютом в свободном полёте, грохались в шоке о твердый асфальт, поэтому и были все в прострации.

В заключении надо отметить, что все четыре курицы в моем просторном вольере, получая в достатке витаминные травы и чистое зерно, быстро оправились от стресса и стали нести яйца.

ПУГОВИЦА

Решив проверить на скорость только что купленный «Запорожец», я разогнался изо всех сил и, выезжая на главную магистраль, не успел уступить дорогу «Волге», которую не сразу заметил.

Аварии тогда, слава Богу, не случилось, но оказалось, что в той машине ехал... самый главный Елизовский автоинспектор — майор милиции Дьяченко. Шансов на пощаду не было. Инспектор в ярости вырвал из кармана кителя компостер и, угрожающе щелкая им, без лишних слов потребовал права и талон предупреждений, чтобы, конечно, изрешетить его к чёртовой матери.

Но вот интересный момент: когда Дьяченко в сердцах вытаскивал из кармана компостер, то вместе с ним оторвал с корнем и форменную со звездочкой блестящую пуговицу. Пуговица упала, стукнулась ребром об асфальт и покатилась к центральной разделительной линии дороги, затем описала полукруг, а так как дорожное полотно имеет полусферическую форму, быстро вернулась обратно и... улеглась, наконец, на мой пыльный ботинок. Что мне оставалось делать? Я поднял пуговицу, сдул с нее пыль и протянул инспектору, зная наперед, что так или иначе всё равно придется мне заново пересдавать правила движения. Возвращая документы, майор как-то странно покряхтел и, не сказав ни слова, укатил восвояси.

Любопытство распирало меня. Перекрестившись, я вытащил из «прав» талон… дырок на нем не было.

ПОМИДОРЫ

Это сейчас — дачники непревзойдённые агрономы и могут вырастить всё, что угодно. А раньше…

Как «золотую лихорадку» на Клондайке сравнивал я охвативший Камчатку дачный бум 80-х, вырастить на целине настоящие спелые, красные помидоры — считалось верхом совершенства. Вспоминаю своего друга, неугомонного Фёдора Антоновича (наши дачи соседствовали), который именно этой культуре отдавал всю свою энергию и помыслы. Что только не вытворял он с тоненькой, вытянувшейся с февраля месяца, рассадой? Росточку-то с гулькин нос, а ему специальную подсветку подавай и подкормки, которым несть числа и вода чтоб была из девственных снегов… Настоящая же битва за урожай наступала непосредственно в теплице, и длилась она до глубокой осени.

Однажды, где-то в конце июля заметил я, что помидоры у Антоныча как-то подозрительно посветлели: были зелёные, как у всех, и вдруг стали светленькими. И сам он весь преобразился: загадочная полуулыбка не сходила с его лица. Что бы это значило? А то, что помидоры его приготовились покраснеть. Его — отнюдь не мои. И то ли от зависти, то ли от озорства, родился у меня, в одночасье, прямо скажем — коварный план.

Уже и не помню, где и как я раздобыл десяток ёлочных игрушек — очень крупных ярко красных помидоров. Удивительно, но они ничем не отличались от настоящих — так и хотелось их подсолить и съесть. Медлить было нельзя и, как только стемнело, и у соседа погас свет, я прокрался в свою собственную теплицу и «операция» началась. Первонаперво я аккуратненько срезал зелёные помидоры переднего, хорошо просматриваемого с дороги, куста и стал закреплять спичечными чопиками на их места — игрушки.

Дело это, оказалось, не простым и только где-то около полуночи, всё было закончено. Эффект был потрясающим! — спелые гроздья плодов даже в темноте красовались выразительно! Я точно знал, что сосед просыпался ровно в семь и по обычаю сразу шёл в свою теплицу узнать: не покраснел ли за ночь хоть один самый первый и, естественно, самый желанный помидор. Затем он брал ведро и, насвистывая любимую «кукарачу», отправлялся за свежей колодезной водой, заглядывая мимоходом, теперь уже в мою теплицу, зная наперёд, что в ней, кроме мелких вечнозелёных плодов, ничего быть не должно.

Место для засады я выбрал с таким расчётом, чтобы самому, оставаясь не замеченным, чётко разглядеть, что будет твориться с соседом. И вот он, заветный час настал! Не обнаружив перемен в своей теплице, насвистывая «кукарачу», Антоныч отправился было за водой,

как, вдруг, и увидел это! Внезапную немую сцену описать простыми словами невозможно — это надо было видеть, видеть и наслаждаться остолбеневшим человеком, его, прости меня Господи, изумлённым лицом и тому, как вытягивал он то в одну, то в другую сторону и без того длинную шею, стараясь хоть как-то постичь увиденное.

Поставить бы точку на этом месте, да добавить хочется, что всё же неловко мне стало тогда перед Фёдором Антоновичем — добрым, деликатным и порядочным человеком.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Повезло Ивану с пассажиром: сдружились как-то сразу несмотря на разницу в возрасте. Николай Иванович оказался собеседником эрудированным, много знал всевозможных историй и рассказчиком был превосходным.

К счастью, оказалось, что и едут-то они в одно и то же крымское направление: Николай Иванович в санаторий, а Иван к другу-земляку полечить поврежденную ногу в тёплом мелководье Каркинитского залива. За долгую дорогу в поезде кажется всё уже самое интересное пересказал Николай Иванович. По уговору очередь теперь за собеседником. Да отнекиваться стал Иван, дескать рассказчик-то он неважный и сюжета выдающегося не припоминает. Но пристал Николай Иванович: «уговор дороже денег». Делать нечего и мало-помалу под ритмичный стук в длинной ночи потекла неспешно Иванова история.

«Случилось это в безлюдной Кустанайской степи, посреди которой, на сотни километров вокруг только один я горемычный — армейский солдат со своей сломанной, с прицепом, машиной, с шестью тяжеленными рельсами по 625 кг каждая. О-хо-хо… Уснул я за рулем, спал, пока не тряхнуло, да так, что вылетел лопнувший рессорный лист, разворотило стремянку… Теперь вот один среди голой целины, от дождя промокший, голодный. Гадай теперь: где, в какой стороне родная войсковая часть? Надо же, на ходу уснул… Куда рулил? Может и вовсе в обратную сторону ехал… от товарищей отстал… Вот она армейская служба: ещё недавно в какой-то секретной передислокации тащились целый месяц в товарняках… думал, за границу везут, в разведке служить стану… Куда там! Разевай рот — вытряхнули посреди степи… Замполит… толстый краснощёкий залез-таки на кабину… теперь как Ленин на броневике… Из распухших глаз ручьем слёзы текут… «Не стало, — кричит, — среди нас нашего любимого, нашего самого родного вождя всех народов, товарища Сталина! Не выпала нам великая честь ещё теснее сплотиться…»

Суть митинга сводилась к тому, что выпала нам честь в кратчайший срок построить железную дорогу «Карталы – Акмолинск».

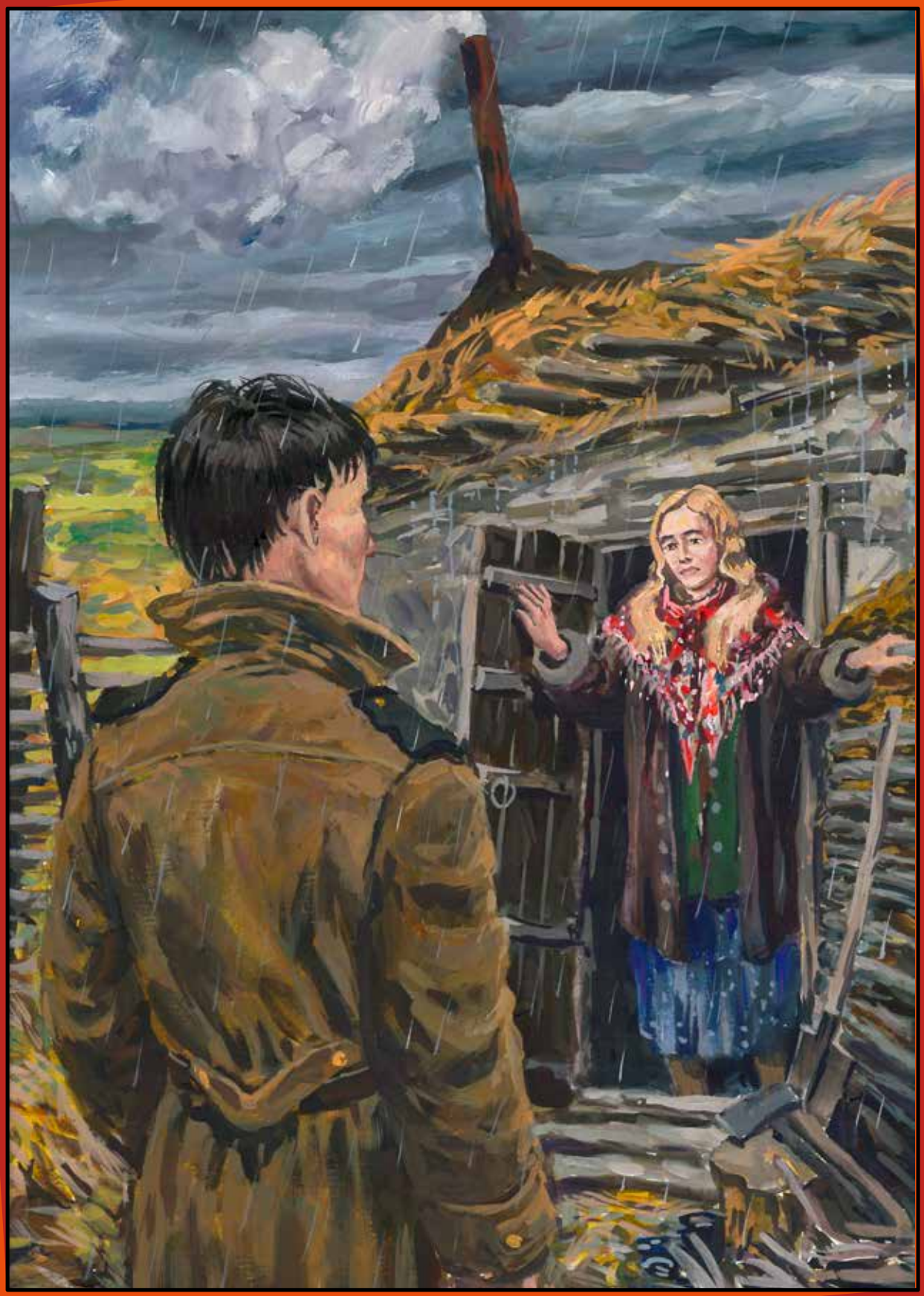
Теперь вот стыну в этой степи, костёр нечем разжечь, дрожу в холодной кабине. О-хо-хо…

…И поневоле вспоминается мне мой родной благословенный Усть-Камчатск, где родился, крестился. Там всё просто, всё понятно, всё интересно. Уж если река, так и река — раздольная, живая, полноводная с рыбалкой, охотой. Если бары — так бары, рядом с которыми кровь стынет от яростного сопротивления океана и Камчатки-реки. По барам этим сам с победным азартом таскал кунгасы с рыбой на своём железном катере «К.Ж.». А о самом океане и говорить ничего не надо: всей жизни не хватит насладиться, насмотреться океанской стихией, на её многотонные громады шипящих ревущих в непогоду исполинских волн. Но самым интересным для нас, молодых, были, конечно, завербованные с материка девчонки. Вырвавшись из беднейших областей России, они были готовы на всё, чтобы побольше заработать обещанных вербовщиком «длинных» рублей, потому и тряслись месяцами в товарных вагонах, укачивались до посинения в угольных бункерах грузовых судов… И вот он, наконец, Усть-Камчатский рыбзавод. Удивительно мне! Отстоять смену на рыбном конвейере в робах тяжелых, в резиновых сапогах большущих и таких же рукавицах, а потом, уму непостижимо, до самой ночи в туфельках, в ситчиках, припасенных с материка, как в последний раз закружиться в вальсовом вихре, прижаться хоть на мгновение к приглянувшемуся парню… Это ли не подвиг! Это ли не счастье отчаянное, часто на ходу сгораемое.

Здесь и познакомился с Машенькой с Урала. Приехала она на 3 месяца, но не заработала «золотых гор», да так и осталась со мной. 21 год уже дочурке моей, Лизоньке. Снарядили вот меня на «курорт», натолкали в новенький рюкзак рыбных деликатесов…

Но вернемся к рессорам и рельсам. Стемнело и стало мерещиться мне, что мерцает огонёк вдали, затем другой… Что бы это значило? Может кочевники там расположились… Обогреют небось, накормят… О-хо-хо, знать бы, что ожидает меня впереди, какие приключения грядут… Всё ближе и ближе подхожу, и вижу, хуторок мазанных полуземлянок. Залаяла собака, а в крайней лачуге отворилась дверь, в проёме которой я увидел… белокурую, лет двадцати, девушку, которая большими испуганными глазами буквально впилась в меня, в мои погоны. Я поздоровался. «Извините за вторжение, говорю, сломалась машина у меня… ночь впереди, обогреться бы. Иваном меня зовут».

«Эльза, — представилась она. — А я-то подумала, что опять комендатура пожаловала. Никак не могу привыкнуть к этой процедуре. Каждый месяц отмечают нас репрессированных, выспрашивают что-то, а то и угрожают каторжными работами, если самовольно сменим место проживания. Кроме комендатуры к нам никто и не заглядывает, боятся наверное», — щебетала она, развешивая над печуркой мой насквозь промокший бушлат. «Немцы мы с Поволжья», — добавила она. О-хо-



хо, к немцам попал — мелькнуло в голове. Однако быстро освоился, отогрелся в уютной избушке и вот, что интересно: чем дальше, тем радостней становилось мне от этой заботливой, словоохотливой хозяюшки, глаз от которой отвести невозможно.

«Мне и восьми лет не было, — продолжала она, — когда нас с мамой насильно заталкивали в переполненный товарный вагон… Это ужас какой-то! 24 часа на сборы… Крики, плач… Автоматчики с собаками… Папу моего, между прочим, председателя колхоза, коммуниста и того обвинили в пособничестве фашистам и угнали в Сибирь, на лесоповал… Ни слуху, ни духу от него. Поумирали, говорят, они там от голода, холода и непосильной работы…» Эльза отвернулась. Я подошел к ней, обнял вздрагивающие плечи «Успокойся, пожалуйста, не властны мы перед историей. Вот увидишь, изменится всё, несправедливость не может быть вечной…» «И мамы тоже не стало — надорвалась на целине… И я кашляю часто, лекарств нету… может с лёгкими что-то у меня…» Эльза повернулась ко мне заплаканным лицом и… в каком-то порыве прижались друг к другу…

Козье молоко потом пили с самоиспеченным хлебом и уж ничего не говорили: просто смотрели друг на друга влюблёнными глазами. «Господи! — думал я — Много ли человеку надо для, пусть мимолётного, но счастья!» И то сказать, какое сокровище-то передо мной! Расцеловать скорее хочется милое, с правильными чертами, тонкое лицо и эти нежные чувствительные губы и щёчки бледненькие, вспыхнувшие теперь румянцем… Светало, Эльза, как младенчески чистая душа, с покорной безмятежностью спала на моей руке и казалось мне, что во всей вселенной никто не посмел бы нарушить эту идиллию…

Потом видел её молящий взгляд с просьбой никогда-никогда больше не приходить к ней, дабы, как она выразилась, «не испортить, не растворить повторением единственный, но божеский дар душе и сердцу». Только и спросила на прощанье, как зовут мою камчатскую супругу.

Когда я подходил к своей сломанной машине, то сразу увидел солдат-слесарей и легковой ГАЗ-57. Отлегло от сердца: слава Богу, сам старшина приехал, нашёл меня! Старшина — добрейшей души человек, которого уважали все за его доброту и справедливость.

«Где был?» — строго спросил он. «У немцев, товарищ старшина — приютили, обогрели… немцы». Слукавить бы мне, соврать, но было уже поздно: таких страшных круглых глаз я еще не видел у старшины. Он оттащил меня в сторону и приставив к моему носу кулак, угрожающе зашептал: «Да ты знаешь ли с кем связался?! Знаешь ли ты что такое «особый отдел»?! С линии снимаю, будешь теперь возить ротного капитана, уж он-то не даст спуску».

Так до самого дембеля и возил капитана. Вот и всё.

Иван замолчал надолго, ожидая реакции собеседника, но тот никак не реагировал. «Да спишь ли ты, Николай Иванович?» «О-хо-хо, — на-

конец отозвался он моей же приговоркой, — рассказ твой, что и говорить, интересен. Но понимаешь ли ты, что какой-то он неполный, не законченный что ли… Образно говоря: так и хочется дорисовать хорошую картинку до конца. Что стало с девушкой, какова её судьба, ты не знаешь, однако, чует моё сердце, что ты, судя по рассказу, хотел бы это знать, а может и встретиться даже. Можно, конечно, сойти в том же Челябинске, а там рукой подать до Кустанайской области и лишних 3–4 дня не сделали бы тебе погоды, а душа бы точно успокоилась от неопределённости».

Умный, мудрый Николай Иванович как в воду глядит, читает его мысли. Но намеренно молчит Иван, ждет, чем закончится монолог.

«С другой стороны, — продолжал Николай Иванович, — 20 лет — большой срок. Вполне может статься, что красивая женщина, фамилию которой ты даже не знаешь, давным-давно забыла тот эпизод и живёт с семьёй в каком-нибудь престижном районе Союза, а может и вовсе в самой Германии живёт и было бы нелепо разыскивать её в степи, которая исковеркала её жизнь. Ради чего искать? Ради бывшей случайной влюблённости, каких у каждого нормального человека десятки… А если найдешь, что скажешь ей: «Здравствуй, мол, проезжал мимо, вспомнил про тебя».

Добил-таки аргументами Николай Иванович, а может, намеренно «накалял» старый хитрец, таким образом жалея, оберегая меня хромого, неуравновешенного от лишних расстройств… Что было — быльём поросло и пусть прошлое останется тайной…

Но однажды утром не обнаружилось ни Ивана, ни его рюкзака. Николай Иванович к проводнику, исчез мол, попутчик. «Ха! Ещё ночью сошёл ваш Иван, в Челябинске. Странный какой-то пассажир: едет в одно место, выходит в другом… Только и сказал, что душа у него стонет».

Мается, мотается по степи неприкаянная душа, но тут же успокаивает, уговаривает себя на ходу: «Что ж тут такого? Ничего особенного и нет. Ну сошел и правильно сделал, развеюсь, подышу вольным воздухом. На знакомые места посмотрю: где служил, где жил, почему бы не посмотреть, не вспомнить. Отдохну на просторе день-другой и опять в путь…»

Но чем ближе подходил Иван к предполагаемому хуторку, тем скорее улетучивалось его напускное хладнокровие, тем шибче отстукивало в груди неизъяснимой тревогой. Оказалось и хуторка-то никакого нет: вместо него посёлок расположился справными домами и ровными улицами. Туда ли он попал? Вон старушка сидит на скамеечке, воззрилась на него. Спросил, не знает ли она некую Эльзу? «Какую Эльзу, — ответила старушка, — Фрезер, что ли? Так ведь умерла она, аккурат девять дней сегодня. На кладбище они уехали, там сам увидишь, на белой легковушке они поехали».

О-хо-хо… Недаром тревожилось. Не уточнил в растерянности, далеко ли до кладбища и кто они, на белой легковушке. Может, напутала чего-то бабушка? Но как бы то ни было — назад дороги нет. Вот уж и люди видны у могилы…

Но что это? На пути цветочек беленький на тонкой ножке трепещет. Как специально объявился. Один-одинёшенек от шквального ветра гнется, бьётся о твердую землю нежными лепестками… Обрадовался Иван цветку, выкопал аккуратно с корешками, на могилку понёс.

«Иван! Ну сколько можно ждать тебя? Иди уже!» — обратилась в его сторону белокурая, лет двадцати миловидная девушка.

«Эльза!» — прохрипело в груди ошеломленного Ивана. Да что это с ним! Вот она: живая, молоденькая, зовёт его, Ивана, с костылём, рюкзаком. С белым цветочком встречает, словно солдата с фронта… Но тут же, слава Богу, и мальчонку увидел, прошмыгнувшего рядом. Вон, оказывается, кого звали! О-хо-хо… отлегло от сердца.

«Здравствуйте! Извините, цветочек тоже хочу посадить. Иваном меня зовут»

«Спасибо за внимание. Маша», — отозвалась девушка, наливая в стакан водку. Вот, помяните мою маму».

Залпом, с жадностью опрокинул в себя водку Иван, как простую воду выпил. Однако унялось немного в груди, спокойней, раскованней сделалось на душе, поднял на Машеньку увлажненные глаза, встретились вопросительным взглядом. Выходит, настала пора представляться, а уж как получится, как отнесутся к нему — не столь важно.

«Иван Алексеевич я. С Камчатки… Мои Маша с Лизой снарядили вот в Крым, на лечение. В пятьдесят третьем служил в этих местах и с… Эльзой встретился тогда же… Проехать мимо не смог…»

А дальше, похоже, нет необходимости описывать сложные чувства неожиданной встречи, чувства родства отца и дочери. Просто тесно сгрудились у могилки, наперебой в гости к себе звали, беленький цветочек поливали, обихаживали и до самого вечера говорили, говорили теперь уже близкие, родные.



«Я – камчадал закоренелый...»



Федор Афиногенович Греченин родился в 1930 году в Нижнекамчатске (некогда бывшего столицей Камчатки), и, конечно же, по всем статьям является коренным камчадалом, и строки из знаменитого стихотворения Георгия Германовича Поротова относятся именно к нему. Напомним:

Я —
Камчадал закоренелый,
К дорогам торным так и не привык,
И мой таганчик обгорелый
Стоит среди нетоптанной травы.
Когда-нибудь Мелькнет моя зарница,
Здесь кто-нибудь причалит свой ковчег.
Увидит таганок и удивится: — Тут был Огонь и Человек!

Когда я начал читать рассказы Федора Афиногеновича (а они совсем крошечные), то изумился той человечности и тому духовному теплу, которые наполняют и согревают все его произведения. Я поразился литературному слогу — насколько точны и выразительны и слова, и образы.

И, конечно же, я очень и очень заинтересовался историей его рода, чтобы понять истоки этого дарования. Ведь ничего не бывает случайного в нашей жизни...

И оказалось, что сама фамилия хранила главную тайну этого рода — его предками были жители Эллады, древней Греции.

Православные греки испокон веков состояли на службе у русских царей. Но история томской диаспоры Гречениных

(Гречаниновых), которые были сосланы в Сибирь, несколько отличается от общей традиции.

Первым в Томск прибыл Христофор Тонгайлов (Тогкаглов), уроженец Константинополя, который сдался русским под Смоленском во время боевых действий, а потом попытался совершить обратное, и поэтому «закованным в колоды и в сопровождении семьи — сына Мануила Христофорова Греченинова и дочерей Марии и Анны» он был сослан в Томск, куда был доставлен 22 сентября 1635 года.



Афиноген Васильевич Греченин

Двое других, называвшихся дядей и племянником, что вполне вероятно соответствовало действительности, так как они были неразлучны на протяжении многих лет, прибыли позже — в 1643 году.

Старший из них — оставшийся в истории Сибири как Юрий Трапезунский (Трапизовский, Трапезанский, Драбызонский) — прошел «через огонь, воду и медные трубы», втянув затем в свои авантюрные дела и племянника Мануила Константинова, который станет патриархом рода томских (впоследствии иркутских и камчатских) Гречениных.

Но все по порядку.

* * *

«Юрий Иванов, родом греченин Трапизона города», — сообщают архивные документы. А далее информация только из уст самого Юрия, которая была зафиксирована дьяками и сохранилась до нашего времени.









Историки, попытавшиеся извлечь некое подобие правды из этих рассказов, пришли к следующим выводам: Юрий Трапезундский «изначально входил в военную охрану купеческих кораблей». Ему



Афиноген Васильевич и Екатерина Федоровна Греченины

не повезло — судно, перевозившее зерно в Стамбул, было захвачено алжирскими пиратами: «на море погромили турские люди и многих гречан побили, а ево взяли жива и свезли в турский город Алзер».

Юрий был продан в рабство и попал гребцом на галеры: «…был де он в неволе у турских людей с полтретья годы, в неволи будучи, был он у турских людей на катарге с ыными полоняники».

У берегов Испании рабы подняли бунт: «…и те де турские люди поуснули и оне де неволники тех турских людей всех побили».

А затем возникает полная неясность — каким-то образом Юрий Трапезунский перемещается в Великобританию, где знакомится с еще двумя потомками Палеологов — двоюродными братьями Иваном и



Дмитрием, получившими позже в России фамилию Альбертусов-Далмацких.

Они и определили его дальнейший путь в Россию, куда он прибывает 8 августа 1627 год в Архангелогородский порт, чтобы «служить государю верою и правдою, слыша к иноземцем царьское жалованье и неизреченную милость».

Царь свою часть обещанного исполнил: «греченя и турский полоняник» был верстан в поместно денежный оклад в 250 чети и 12 рублей. При этом поденный корм его составлял по какой-то необъяснимой причине 10 алтын в день. Как пишет Т. Опарина: «Ю. Трапезундский оказался самым высокооплачиваемым участником «греческой роты». В Москве он женился.

В 1628 году в Москву прибыли Альбертусы, которые были обласканы русским царем.

И примерно в это же время Юрий Трапезундский находит своего родственника Мануила Константинова, который был захвачен донскими казаками во время крупного морского похода в 1625 году. Так как Мануилов отец в это время был «в турках, в басурманах», то донцы, похитив турецкого мальчика, продали его в рабство на воронежском рынке.

Так Мануил оказался в российской столице, будучи купленным ювелиром мастеровых палат англичанином Яковом Гаст, от которого он бежал, вспомнив о своих православных греческих корнях. Сам патриарх Филарет совершил таинство и Мануил, став православным, обрел духовную свободу. Духовный глава греческого землячества в России келарь Новоспаского монастыря Иоанникий «обратился к патриарху Филарету с прошением о предоставлении личной свободы М. Константинову».

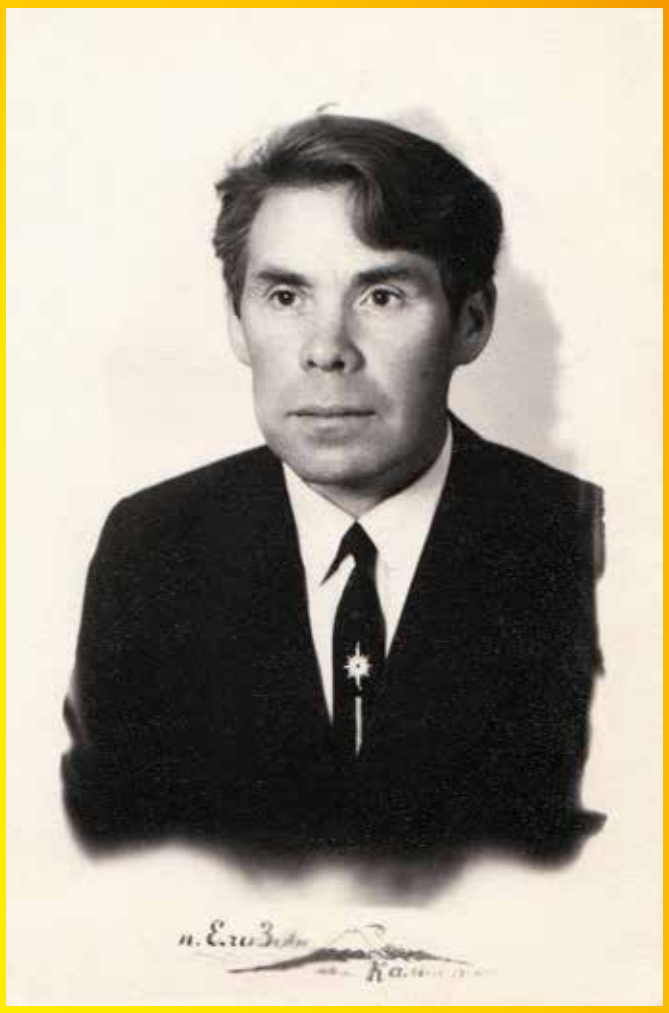
Такая свобода ему была предоставлена, и он был определен в рядовые Иноземского приказа. «20 октября 1628 года администрация Иноземского приказа вынесла

решение о наделении М. Константинова поместным окладом в 250 чети, денежным — в 13 рублей. Поденный корм составил восемь денег в день».

На свою будущую беду он встретился здесь со своим дядей Юрием Ивановичем Трапезундским.

Из греков была сформирована в 1630 году отдельная «греческая рота», а 9 августа 1632 года рота выступила в поход в составе Большого полка Михаила Шеина и Артемия Измайлова.

Боевые действия рота начала под Дорогобужем, где наши герои неожиданно… исчезли, изменив царю и став перебежчиками-информаторами польского командования. Юрия Трапезундского принял сначала князь Степан Массальский, потом гетман Лев Сапега и, наконец, наследник польской короны Владислав. Он был участником церемонии погребения короля Сигизмунда III и коронации Владислава IV…



Федор Афиногенович Греченин

А потом оба дезертира вдруг решают вернуться в Россию. Скорее всего, решал Юрий — у него в Устюге в ссылке находилась семья, наказанная за его измену.

И вот, что удивительно и необъяснимо до сих пор: «В делопроизводственной документации было зафиксировано, что его прислал к царю Михаилу Федоровичу «голанской князь голанских немец».

«И по государеву указу велено им государева служба служить и государева жалованья кормовые деньги давати по-прежнему в Ыноземском приказе с ыноземцы вместе».



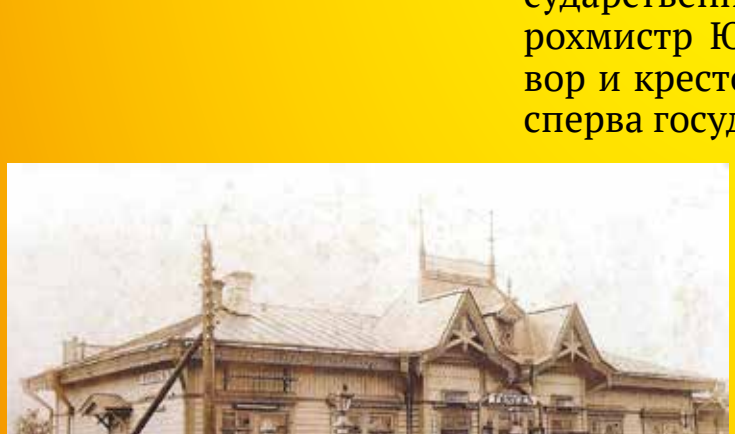
Мало того — в будущем, вплоть до 1642, рокового для обоих, года он возглавлял греческую роту в чине ротмистра, «его поместный и денежный оклады составляли уже 400 чети и 30 рублей, ежемесячное кормовое жалованье — 10 рублей».

По-прежнему принадлежа к клану князей Альбертусов-Далмацких, Юрий и Мануил не могли не быть втянуты в конфликт этой семьи с другой влиятельной фамилией из Османской империи — Алибеевых-Макидонских. Конфликт закончился поножовщиной — в присутствии Мануила Дмитрий Альбертус попытался убить Федора Алибеева, которого заслонил своим телом холоп, получивший при этом пять ножевых ран и скончавшийся на месте.



Началось следствие… Ниточки потянулись к прошлому…

И уже ротмистра Трапезундского обвинили в государственной измене: «А тот… изменник рохмистр Юрья Тропизонской… ведомой вор и крестопреступник, под Смоленском сперва государю изменил и переехал к литовским людям, весть подал, и, быв в Литве, опять переехал к государю, а сказал, будто ево взяли в языкех. И про ево воровство и про измену сыскано. И по сыску сослан он, Юрьи, в Сибирь».



Туда же, в Томский город, был сослан и Мануил Константинов, где уже пребывали в ссылке греки Тонгайловы, одна из дочерей

которого стала женой Мануила Константинова Греченина (Гречанинова).

Восемь их сыновей были будущим ядром «боярских детей» Томска, купцов и рудознатцев.

* * *

Появления томичей Гречениных в Иркутске связано уже с их предпринимательской деятельностью: «…16 июля 1727 года был указ императрицы Екатерины I … о запрещении торговать вином в близости от китайской границы и изготовлять его частным лицам, кроме двух казенных (государственных) заводов — Иркутского и Нерчинского. И по этому указу от 1727 года, было приказано сломать кабаки в Староселенгинске Ивана Протопопова и Максима Лебедева, в Итанце кабак Ивана Пивоварова, в Ильинке — Егора Мезенцова, в Байкало-Кударе — Ивана Греченина…»



А вот и подробности из Иркипедии:

«Греченин Иван (1699–1757) — иркутский купец 1740–1750-х. Женат на дочери иркутского сына боярского; дети: Михайло (р. 1730), Афанасий (р. 1737, в 1759 взят в рекруты), Егор (1743—1744), Алексей (р. 1747), Иван (р. 1749). Сестры Ивана — Екатерина (р. 1728, замужем за иркутским казаком), Татьяна (р. 740, замужем за дьячком)».



А в начале XIX века иркутянин Иван Афанасьевич Греченин (1768 года рождения) появляется на Камчатке в Нижнекамчатском остроге.

В 1854 году его сын Захар Иванович Греченин в ответ на призыв губернатора Камчатской области генерал-майора В.С. Завойко прибыл в Петропавловский порт для участии в его обороне, в память об этом он был



награжден памятной бронзовой медалью на андреевской ленте, специально выпущенной для участников Крымской войны 1853–1856 гг.

А за участие в обороне Камчатки от японцев в 1904–1905 гг. его внук, староста села Нижнекамчатск, Захар Петрович Греченин, был награжден серебряной медалью «За усердие».

Захар Иванович приходится Федору Афиногеновичу Греченину прапрадедом, пращуром.

Его прабабушкой была Пелагея Семеновна Сновидова — потомок ссыльного, участника дворцового заговора во времена императрицы Елизаветы Петровны Ивана Кириаковича Сновидова.

А бабушкой и матерью — Анна Александровна и Екатерина Федоровна Савинские из дворянского рода Савинских, прибывших на Камчатку по службе также из Иркутска и осевших здесь на века.

Так что совершенно не случайно открылся в Федоре Афиногеновиче Греченине удивительный дар не только видеть МИР в его разноцветье, но и передавать эту волшебную красоту людям…

Я был очарован его рассказами… И надеюсь, что это очарование со мной разделят и другие читатели.

Сергей Вахрин,
член Союза писателей России



«По следам древних костров», фото Ф. Греченина

Урочище реки Никулка, впадающей в реку Камчатку.

Здесь на отвесном берегу (правом) Никулка мы делали первые раскопки и нашли зуб мамонта и два плохо сохранившихся бивня. На снимке же сфотографирован хорошо сохранившийся бивень из коллекции рабочего, производившего учёт нерестующейся рыбы в реке Никулка (см. текст рассказа). На фото слева направо: Мещеряков Анатолий (командир корабля) и Саша Матвеев (штурман дальнего плавания).







Уникальное место, открытое археологом Диковым, где обнаружено, начиная с палеолита, двенадцать культурных слоёв. Посёлок Майское (см. текст рассказа).



Обследование незнакомой протоки



Пройдено 800 км в течение 22 дней. Наш «фрегат» «Степан Крашенинников», сделанный нашими же руками в Елизово, прошёл все испытания (см. текст рассказа).

На снимке слева направо: штурман Уилсон, капитан Смит и я, Билл — начальник экспедиции.

Фёдор Афиногенович ГРЕЧЕНИН

Осени светлая печаль

редактор С.И. Вахрин
верстка Е.Ю. Дорт-Гольца
иллюстрации И.А. Пискунова

Подписано в печать 15.10.2018. Формат
Бумага мелованная. Печать .
Усл. печ. л.: . Тираж 100 экз. Заказ №

КРОФ «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»,

Отпечатано в